АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ

ПРОБЛЕСКИ ВО ТЬМЕ

А. Толстая Проблески во тьме

АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ

ПРОБЛЕСКИ ВО ТЬМЕ

Вашингтон
1965

Литературно-Художественный Кружок в Калифорнии.
1923—1965.

Е. А. Малоземова:
2135 Roosevelt Street,
Berkeley, California (94703)

Казначей: Mrs G.Eremin
2140 Ward Street,
Berkeley, California

Printer: I. Baschkirzew Buchdruckerei,
8 München-Allach, Peter-Müller-Str. 43.
Printed in Germany

ПРЕДИСЛОВИЕ

Кромешная тьма советской жизни окружала автора этой книги в течение одного из тягчайших периодов Военного коммунизма. Эти годы расправ, убийств и всевозможных коммунистических опытов обрекали население России на голод, нищету и постоянный страх попасть в преступные руки чекистов. Александра Львовна Толстая не побоялась доходить до самых жестоких представителей советской власти. Она была ходатаем по политическим делам, вплоть до посещения центра чекистов, до Лубянки № 2; сюда со страхом входили даже видные члены коммунистической партии. Никто, никогда не был уверен, что за ним не могут захлопнуться двери навсегда.

Многие очерки А. Л. Толстой писались и прятались в домах заключения, в тюрьме и в лагере. В книге «Проблески во тьме» читатель найдет много очерков литературно-художественной ценности. Они написаны ярко, выпукло, сжато, искренно и «раздумчиво строго». Даже во тьме советской жизни ей удалось найти человеческое. Ее тонкий юмор и любовь к человеку помогли ей увидеть свет во тьме. Этот свет поддерживал в ней веру в будущую Россию. Она встретила и дала нам почувствовать душу русских людей и из «малодушествовавших» и души людей не переставших «светиться», как выразился однажды Л. Н. Толстой.

Она дала нам просветы добрых человеческих чувств, мужества, достоинства, благородства и милосердия. Свою Правду-Истину она создала с предельной простотой, где иногда сквозит и ее тонко-художественный юмор. Она не раз улыбнется и посмеется над самой собой.

Книга А. Л. Толстой нужна и для русской молодежи и для американцев, изучающих русский язык в университете.

Дар общественного служения редко позволял А. Л. писать о пережитой ею борьбе в советской России с ложью, издевательством, насилием и убийствами вокруг. Отцовское «Не могу молчать» сменилось у дочери протестом «Не могу допускать ложь!» Она почувствовала, что для «русского дела» можно было сделать больше за рубежом России, чем — оставаясь в ней.

От редакции.

От души благодарю организацию Литературно-художественного Кружка в Калифорнии (1923—1965 гг.), а также следующих лиц:

Профессора Георгия Константиновича Гинса и

д-ра Елизавету Андреевну Малоземову,

а также всех тех, которые помогли мне в издании этой книги.

Александра Толстая.

ГЛАВА 1

РЕВОЛЮЦИЯ

Надо мной склонилось толстое красное лицо со вздернутым носом. Лицо улыбалось и это раздражало меня.

Болела рана. Я лежала в Минском Госпитале, мне только что делали операцию. К пиэмии прибавилась тропическая лихорадка, которую я подхватила, работая на Турецком Фронте. В голове было мутно от очень высокой температуры.

Но болезнь не волновала меня. Революция? Что то будет?

Чему сестра радуется? Сверкают белые, ровные зубы, смеются маленькие, серенькие, глазки, утопающие в складках полного лица. Почему ей так весело?

Мой любимый доктор, пожилой благообразный еврей, вошел в комнату, сел у кровати и взял мой пульс.

— Скажите, доктор, как дела?

— Хорошо, рана скоро заживет. Высокая температура от малярии.

— Я не об этом . . . Я о революции, что происходит? Есть ли какие-нибудь перемены?

— Да, Великий Князь Михаил Александрович отрекся от престола.

— Боже мой! . . Значит . . . Пропала Россия . . .

— Да. Пропала Россия! — печально повторил доктор и вышел из комнаты.

Сестра продолжала глупо улыбаться.

Первое время ничего не изменилось на фронте. Солдаты продолжали сидеть в окопах, вяло перестреливаясь с немцами. В ближайшем тылу топили землянки, варили пищу, резали дрова, несли дежурство. Правда, вместо «благородия» появилось совершенно бессмысленное и не менее буржуазное обращение солдат к офицерству: «господин подпоручик», «господин полковник»; кое-где само офицерство догадывалось снимать погоны, кое-где посрывали их солдаты. Также скучали в бездействий санитарные отряды, офицерство ухаживало за сестрами.

Но все, и офицерство, и сестры, и врачи, и земгусары — все делали вид, что не только изменилось правительство и вместо Николая П стала у власти группа интеллигентов, а что изменились они все. В течение нескольких дней не только солдаты, но и весь командный состав изменил государю. Монархистов не осталось среди офицерства. Легко и просто вдруг стали вежливы с солдатами, перешли на «вы», прибавляли к приказу «пожалуйста».

Я выписалась из госпиталя, когда рана не вполне еще зажила. Доктор назвал меня безумной, но отпустил. В самую распутицу, в марте я приехала в отряд.

— Вас ждут санитары, — сказал начальник летучки, — когда вы можете пойти к ним?

Этого никогда не было. Но теперь все было по иному, я вступила в исполнение своей роли.

— Хорошо, соберите команду! — сказала я.

— Здравствуйте, санитары! — поздоровалась я, входя.

— Здравия желаем, — ответили они, — господин . . . госпожа уполномоченный.

— Граждане! — сказала я. — За это короткое время Россия пережила великие события. Русский народ отряхнул с себя старое царское правительство . . .

Слова были как-будто «самые настоящие», но было мучительно стыдно. Я продолжала и, когда не хватило слов, крикнула:

— Урра! Да здравствует свободная Россия!

— Урраа! — подхватили солдаты.

Меня окружили, хотели качать. Я в ужасе схватилась за больной бок. Начальник летучки спас, качали его.

— Дозвольте спросить, госпожа уполномоченный, по какому случаю летучка перемещается?

— Приказ начальника дивизии.

— Почему же именно на это место в лощину?

— Мы с начальником летучки лучшего места не нашли.

— Дозвольте сказать. Не мешало бы отрядному комитету осмотреть местность, обсудить . . .

Коллективное начало вступало в свои права, надо было с ним считаться. Осматривали местность пять человек. Обсуждали, спорили. Лучшего места не нашли и, потеряв три дня, остановились, наконец, на той же лощине, которую мы выбрали с начальником летучки. Не успели расположиться, как немцы нас обстреляли.

Было еще темно. Я проснулась от знакомого звука. Забухали тяжелые орудия, один за другим просвистели тяжелые снаряды.

Встрепенулись люди, заговорили, загремели цепями лошади на коновязи, как всегда завыл отрядный большой пес «Рябчик».

Несколько снарядов шлепнулось в противоположный берег, взрывая фонтаном землю.

Как безумные, из палаток, где лежали больные и раненые, побежали санитары к блиндажу.

— Куда? Мерзавцы! Раненых бросать! — забыв о новой принятой на себя роли вежливости, орал начальник летучки.

Но людей точно подменили, не помогали ни окрики, ни увещания. С горы, из соседних воинских частей в одном белье бежали в нашу лощину солдаты.

— Братцы! — орал во всё горло солдат. — Братцы! Спасайся, кто может!

Рассветало. В желто-красном зареве над мутным туманом леса показалось темное пятно, окруженное мелкими точками. Постепенно увеличиваясь, оно плыло ближе и ближе. С шумом пролетел над нами Илья Муромец, окруженный свитой фарманов.

Разинув рты, солдаты медленно поворачивали головы, следя за уплывающими аэропланами. Орудия смолкли. Стали расходиться. Было что-то бесконечно слабое и жалкое в белых, в одном белье, босых, согнутых фигурах, ползущих в гору.

— ... вашу мать!

Персонал повскакивал с мест, одна из сестер пронзительно взвизгнула.

— Сволочи!! Мать вашу!..

Тяжелый кулак с силой ударился о стол. Задребезжала посуда, стоявшая с краю чашка женщины-врача подскочила и со звоном упала на пол. И снова дернулся в разные стороны испуганный медицинский персонал.

Заведующий хозяйством, в другие времена давший бы солдату по морде, подскочил к нему с заискивающей улыбкой.

— Что с вами, товарищ? Успокойтесь!

— Сволочь! Посылаете в такую погоду! А сами в тепле чаёк попиваете!

Лицо серое, забрызганное глиной, такое же серое, как залепленная грязью шинель. Дрожат губы, дергается круглый подбородок, убегают глаза.

— Не надо так... Поговорим завтра!

Я положила руку на его корявый рукав, на минуту поймала голубые глаза. И вдруг он весь осел, сжался.

— Двуколка перевернулась. Замучился... Никак не вылезешь, лошади потащили, ногу прихватило. Разве так можно? — рассердился он опять. — Засветло надо больных отправлять!

Вышел, хлопнув дверью и оставив за собой лепешки грязи. Аккуратненькая сестра-хозяйка встала и собрала с полу осколки чашки.

— Мозговой аффект, — сказал врач, — он был контужен. Санитары говорили, что у него бывают иногда припадки. Один раз чуть товарища топором не зарубил.

— То ли еще будет, — сквозь зубы процедил заведующий, — если бы это животное знало, что его могут расстрелять за оскорбление начальства, поверьте мне, никаких бы аффектов не было! Дисциплины нет...

— Что бы там ни было, избавиться надо от этого человека, — сказала женщина-врач, — он опасен для больных, он опасен для нас...

— Ах, как я испугалась! Я думала, он нас всех перебьет! — и хорошенькая сестра с каштановыми волосами, спускавшимися колечками на лоб, покосилась на старшего врача,

который за ней ухаживал. — Почему вы не остановили его, Николай Петрович?

— Человека, действующего под влиянием аффекта ни в коем случае не следует раздражать... Давайте лучше сыграем в шахматы.

Было душно в комнате, душно от разговоров. Бушевал ветер, дождь порывами бил в окно. А где то там, в темноте, в тесных солдатских бараках назревало большое, жуткое. Его глушили годами, и вот теперь оно вырывалось безобразными неумелыми порывами, вырывалось с невероятной, стихийной силой.

Савельев мог ударить, убить. Было страшно от этой мысли, но злобы, возмущения не было. Убил бы и не был бы виноват, а только жалок.

Я говорила с ним на другой день.

— На кой нам чорт эта революция! Вместо царя Львовы там или Керенские. Все равно сидеть в окопах, во вшах, в грязи! — говорил он, захлебываясь, спеша, точно боялся, что не успеет высказать всё. — Вон, ваш полячишка распоряжается, в тепле чай и вино попивает... А чем мы хуже его? Я жену больше года не видал...

Условности, искусственность отношений между начальством и подчиненными исчезли. Он плакал, грязным кулаком размазывая слезы по лицу, как ребенок.

— Где же она правда? Фельшар в перевязочном говорит: «Довольно с немцами воевали, вали, ребята, в тыл воевать с буржуями, у помещиков землю, у фабрикантов фабрики отбирать». А взводный наш: »сволочь, — говорит, — вы все, трусы, родину немцу продаете. Долг солдата за Рассею до победного конца стоять». Где же она правда?

ГЛАВА 2

РЕЧИ

Все говорили речи. Везде как грибы вырастали трибуны. Куда ни приедешь, везде собрания. Стали появляться странные люди. Они говорили больше всех, призывали бросать фронт, не подчиняться офицерам.

Говорили офицеры, сестры, — все. Помню, приехала в отряд. На трибуне большевик. Не успел кончить, вскочил на трибуну шофер, поляк, с которым я только что приехала.

— Товарищи, — начал шофер, как будто он только и делал всю жизнь, что говорил речи, — товарищи, я поляк, но я русский патриот, я за войну до победного конца! Без аннексий и контрибуций!

Он выкрикивал короткие фразы, бил себя по кожаной куртке в грудь, и, когда кончил . . . — Урраа! — крикнули солдаты и хотели его качать, но вдруг на трибуну не взошел, а взлетел первый оратор.

— Долой наймитов капитала! — заорал он во всё горло. — Долой пиявок, сосущих кровь из трудового народа! В то время, как вы голодные, холодные, во вшах, сидите в окопах, царские шпионы, уклоняются от военной службы, ради своих интересов . . . Да здравствуют советы солдатских и рабочих депутатов! — закончил оратор.

—Урраа! — заревели солдаты, неловко хватая оратора за ноги и за руки и взмахивая его кверху.

Заклокотало у меня в груди, вскочила я на трибуну и произнесла патриотическую речь.

Это было сумасшествие. Запомнился один начальник дивизии. Старик-болгарин, стамбуловец. Говорили, что тело его покрыто рубцами, секли за революционную деятельность в родной стране.

Он говорил без выкриков, просто, душевно. Говорил о необходимости держать фронт, о верности Временному Правительству. Когда кончил, расплакался, и солдаты были растроганы, долго кричали ему «ура».

Но при первых же звуках крикливого голоса нового оратора улетучилось впечатление спокойных разумных слов. Едкая злоба, месть, ненависть били по издерганным нервам, ударяли в голову, будили подавленные веками могучие волны независимости, гнева.

— Долой царских генералов! Сплотившись во единый мирный фронт, пролетариат всего мира даст отпор капиталистам, палачам! Товарищи! Долой братоубийственную, империалистическую войну! Стройте мирную социалистическую жизнь! Мир хижинам, война дворцам!

Слова были новые, непонятные. Но они жгли огнем, они звали к чему-то неизведанному и лучшему, чем было до сих пор.

Генерал низко склонил седую голову и, точно сразу постарев и ослабев, сгорбился и, сопя носом, отошел в сторону.

За Молодечно, под Крево, был сосредоточен кулак против немцев. Яблоку негде было упасть. В каждом перелеске — батареи, войска. С трудом нашли место для второй летучки, но опасное, неприкрытое.

Я никогда не видала такого артиллерийского боя. Разговаривать нельзя было, в ушах стоял гул. Подвозили все новые и новые снаряды, лопались орудия.

Раненых было немного. Большинство инвалиды, офицеры, солдат было мало, с пустяшными ранениями.

— Ну, перевязывай, тебе говорят, — и солдат тыкал сестру в нос обрубком пальца.

— Подождите, товарищ, есть раненые в живот . . .

— А я тебе говорю, перевязывай.

— Не могу, распоряжение . . .

— Ах, ты сволочь этакая! Б . . ь офицерская! Перевязывай, тебе говорят!

— Что за шум? В чем дело? — с поднятыми кверху чистыми руками спрашивал врач выходя из перевязочной. — Раненых в голову и живот в первую очередь, — и он снова скрывался за дверью.

А солдат с пальцем долго и нехорошо ругался.

Говорили, что семь рядов проволочных заграждений, окопы, — все было сметено артиллерийским огнем. Немцы бежали. Но и там шла неперестающая агитация.

— Немцы, товарищи! Немецкая кавалерия! — кричал кто-то, завидя удирающего с передками немца. И солдаты бежали.

Вечером, после боев, когда русские продвинулись и снова заняли прежние позиции, в персональской столовой сидел мальчик-прапорщик и, закрыв лицо руками, плакал.

— Солдаты! Какие мерзавцы! Я никогда не думал, что они такие мерзавцы, — бормотал он сквозь слезы, — вы

знаете? Мой лучший друг убит... Да в общем все офицеры перебиты, кажется я один остался. И как убит! Мерзавцы! Бросили пулемет, бежали. Он был ранен в ногу, подполз, нажал кнопку, продолжал стрелять. Вторым снарядом его убило. Какова смерть? А? А вы знаете, что они говорят? Я слышал. «Вот, говорят, как офицерству война выгодна. Раненый и то полез опять стрелять, наемник буржуазии». О, мерзавцы!

И мальчик-прапорщик снова горько заплакал.

Один раз, когда я подъехала к первой летучке, персонал и начальник летучки выбежали из палатки ко мне навстречу.

— Пожалуйста, разрешите нам поехать на собрание, Керенский выступает. Это совсем близко, только три версты отсюда, он будет говорить!

Мне тоже хотелось его послушать, и мы все вскочили в машину и поехали. Опоздали. Керенский уже говорил. Собралась громадная толпа солдат.

На высокой трибуне худой человек среднего роста в солдатской шинели, охрипшим голосом выкрикивал какие-то слова, которые трудно было разобрать. Мне показалось, что не было простоты, убежденности в речах оратора в его призывах объединиться для спасения России.

Когда мы возвращались в свой отряд и доктора восторженно переговаривались и восхищались речью Керенского, я молчала, мне было не по себе.

«Неужели они верят, — думала я, — что этот человек может спасти Россию?»

В первую летучку приехала ревизия осматривать лошадей. Дивизионный врач, представитель от Всероссийского Земского Союза и еще кто-то. В ту пору благодаря упадку дисциплины везде, почти во всех конных частях, как в военных, так и в общественных организациях появилась чесотка. У нас в отряде ее не было.

Вызываю начальника летучки, тот вызывает фельдфебеля, передается приказ привести лошадей. У каждого са-

нитара по две лошади на руках, всего с верховыми в отряде около ста тридцати.

Комиссия ждет. Проходит минут двадцать, а лошадей нет. Вдруг меня вызывают. Прибежал фельдфебель взволнованный.

— Госпожа уполномоченный! Что делать? Санитары отказываются вести лошадей.

— Что!?

— Так что санитары говорят: ежели начальство интересуется, могут сами придти к коновязям лошадей смотреть . . .

Делая вид, что я не расслышала или не поняла, я строго сказала:

— Я очень недовольна, что вы так долго заставляете ждать начальство. Вы знаете, что наши лошади в порядке и беспокоиться нам нечего. Скажите команде, что я уверена, что все сойдет хорошо, потому что везде лошади в чесотке, а у нас нет. И тогда ведро вина команде!

— Но госпожа уполномоченный . . .

— Вы слышали, что я сказала? А теперь живо! Чтобы через пять минут лошади были здесь. И не забудьте сказать каптенармусу насчет вина.

— Слушаюсь.

Через пять минут показалась стройная колонна, каждый солдат вел свою пару лошадей. Лошади сытые, вычищенные, совершенно здоровые.

Начальство осталось довольно:

— Молодцы, санитары!

— Рады стараться, господин генерал!

Все развеселились, солдаты заулыбались.

Но положение делалось серьезнее с каждым днем. Дисциплина падала. Особенно плохо было во второй летучке. Начальник ничего не мог сделать с командой. Отказывались работать, грубили. Был даже случай отказа передвинуться на новое место по приказу начальника дивизии.

Разложение шло быстро. Когда при осмотре войск командир корпуса зашел в перевязочный отряд, старика никто не встретил. Он стал обходить землянки. Солдаты валялись на койках и на приветствие генерала — «здорово санитары», не поднимаясь, лениво тянули — «здравствуйте». А то и вов-

се не отвечали. Большевистская пропаганда, как яд, разлагала вторую летучку и она быстро приходила в упадок; солдаты перестали работать, не чистили лошадей, завели грязь, беспорядок. Пришлось в спешном порядке ликвидировать летучку. Да и вообще чувствовалось, что делать на фронте больше нечего. Фактически война кончилась. По всему фронту шло братание, солдаты покидали позиции.

Я решила сдать отряд, благо находился наивный человек, который охотно принимал его на себя, и уехать в Москву.

Отрядный комитет устроил в мою честь прощальное заседание. Председатель комитета открыл собрание витиеватой речью.

— Товарищи! — начал он. — Сегодня мы провожаем нашего уважаемого уполномоченного, который, которая, так жертвенно работал, то есть работала для нашей родины, то есть для нашей революционной страны! Товарищи! Что я хочу сказать? Наш третий отряд Земского Союза самый отменнейший из всех отрядов! Почему же это так, товарищи? Я объясню вам почему, товарищи! В других отрядах нет уже ни продуктов для людей, ни фуража для лошадей! А у нас — всего достаточно. Сыты и люди и животные. А почему же это так, товарищи? А потому, товарищи, что наш, то есть наша ... уполномоченный ...»

Он говорил долго ...

— Товарищи, — закончил он наконец свою длинную речь, — я желаю нашему уполномоченному, то есть нашей уполномоченной счастья и благополучно доехать и прошу всех вас, товарищи, почтить ее память вставанием.

И все молча встали.

А позднее я узнала, что после моего отъезда тот же самый комитет постановил меня арестовать, как буржуйку и контрреволюционерку, но я уже была в Москве.

— Васька, чёрт, вали сюда!

Солдат изогнулся и преувеличенно резким движением сбросил сумку на бархатный диван. Робкое веснущатое лицо показалось из-за двери купэ.

— Да ведь это, братцы, первый. Как бы нас, того... не попросили бы о выходе?

— Вали, говорю, дура. Может раньше и попросили бы, а теперь то мы и сами попросим, — и солдат злобно покосился на меня.

— Важно, — сказал Васька, — здорово буржуи ездят.

— Отъездились. Ну, барыня, двигайся.

Но двигаться было некуда. Я сидела прижавшись в угол, и его сапоги скоро оказались у меня на коленях. Я хотела уже встать с дивана, но солдат вдруг вскочил и бросился в коридор. Послышались крики, брань, задребезжали стекла. Поезд уже шел на всех парах.

— Вот это ловко, — орал мой сосед, — самого туда! Довольно покуражились, сволочи.

Я выглянула в коридор. Он был полон солдат. Все кричали, шумели, нельзя было ничего разобрать. Васька стоял, раскрыв рот, и напряженно смотрел.

— Что случилось?

— Да офицерские вещи в окно пошвыряли. Как бы самого не выкинули, осерчали дюже ребята.

Я села на прежнее место у окна и стала ждать. Страха не было, но сердце билось болезненными, неровными толчками, в груди закипало возмущение и гнев, хотелось кричать, топать ногами, вышвырнуть из вагона этих солдат с грязными мешками и махоркой. Я старалась не слушать грубого злорадного гоготания, доносившегося из коридора. «Сейчас придет тот грубый, нахальный... Двое суток до Москвы...»

Тарахтели колеса. Забрав в кулак гимнастерку, Васька, почесывая грудь, вошел в купэ.

— Отбился офицерик, — сказал он, — а я так и думал, его в окно вышвырнут.

— Чего стоишь? Садись, — сказала я, — курить хочешь?

Васька грязными, корявыми пальцами достал из моего портсигара папиросу и сел. Он видимо робел.

Васька ехал к себе домой. Он был счастлив, ему хотелось говорить про себя, про жену и семью. Через четверть часа я уже знала всю его жизнь. Я и не заметила, как вошел тот, другой.

— Васька, табак есть?

Я протянула ему портсигар. Он молча взял, но не поблагодарил.

— Вот что, ребята, — сказала я, — ехать нам долго, у меня чайник, харчей немного есть. Кто-нибудь сходите за кипятком и давайте не ругаться, чтоб все по хорошему было . . .

Сердитый промолчал. Но, когда поезд остановился, взял чайник и принес кипятку. На следующей остановке к нам набилось еще несколько человек солдат. В коридоре стояли и сидели сплошной массой, пройти нельзя было. За кипятком лазили в окно. Солдаты достали жестяные кружки, все пили чай, усиленно дуя и обжигая пальцы. Некоторые сидели на полу.

Меня не трогали. По молчаливому соглашению признали в своей компании. Старались не ругаться, но курили махорку и плевали на пол. Болела голова. Душевное напряжение сменилось усталостью . . .

Перед ночью я выходила на станцию. Солдаты высадили меня в окно.

— У, чёрт! Ну, и гладкая же, — орал сердитый солдат, склонившись из окна вагона и таща меня за руки, — ну, ну, лезь что ли.

— Погоди! Погоди! Я ее сзаду подпихну, — пищал ласковым тенорком Васька, пихая меня снизу.

— А ты полегче ! А то она тебе хребет сломит.

В Москве солдаты вытащили мои вещи и снесли их на извозчика.

— Будь здорова, сестрица! — кричали они на прощанье.

ГЛАВА 3

«СЕСТРА ТОЛСТОГО»

Я получила письмо от тетеньки Татьяны Андреевны Кузминской. * Она ездила в Петербург повидаться с сыновьями и теперь возвращалась в Ясную Поляну. В Москве

---

* Татьяна Андреевна Кузминская, сестра С. А. Толстой. Прототип Наташи Ростовой в «Войне и Мире».

я должна была ее встретить и посадить на поезд, который шел в Ясную Поляну.

Задача была нелегкая. Транспорт был совершенно разрушен, поезда шли с большим опозданием, вагоны были переполнены людьми, едущими на юг, обменивая у крестьян в деревнях одежду, материю, башмаки, мыло, папиросы на муку и хлеб. Все железные дороги были реквизированы, но можно было доставать особые квитанции на проезд в комиссариате путей сообщения. Железнодорожные станции были забиты народом. Люди лежали на полу, сидели на мешках и чемоданах, охраняя свой багаж от жуликов и беспризорных, которые так и шныряли по вокзалу, ища добычи... Иногда люди ожидали поезда несколько дней, а когда поезд приходил, многие не могли на него попасть. На ходу вскакивали на подножки, занимали все места в вагонах, забивали тамбуры, крыши, висели на подножках. В воздухе висела площадная ругань; трещали разбитые коробки и чемоданы; разлетались, рассыпались вещи. Иногда ранили, до смерти раздавливали людей.

Я не раз попадала в такую давку, когда путешествовала из Москвы в Ясную Поляну. Один раз кто-то в суматохе ухватил мой чемодан и старался вырвать его из моих рук, но я его крепко держала. Меня повалили, я упала навзничь, но чемодана не выпускала; в нем были важные бумаги. По мне ходили люди, кто-то проехался каблуком по моему лицу, я закричала и меня подняли.

Милиционеры старались прикладами винтовок отогнать людей, но озверелая толпа все лезла и лезла. Ничего не помогало, женщины визжали, окна разбивались, мужчины ругались скверными словами. С ужасом я думала о старенькой, хрупкой тетеньке в этой ужасающей обстановке. Что делать? спрашивала я себя и не находила ответа. Мы доехали до Курского вокзала на извозчике.

Здоровый, широкоплечий, бородатый носильщик понес вещи на вокзал, который, как я и предполагала, был забит народом. Единственный отправляющийся на юг поезд «Максим Горький» действительно оказался настоящим «пролетарским» поездом с вагонами исключительно четвертого класса.

Мы усадили тетеньку около стены на одном из ее чемо-

данов, носильщик стал возле нее, заслоняя ее от толпы, а я помчалась к начальнику станции.

— Помогите, товарищ, я должна посадить на этот поезд старушку, сестру Льва Толстого. Она больная, хрупкая.

Начальник станции смотрел на меня тупыми бараньими глазами и молча пускал клубы дыма.

— Товарищ, пожалуйста! ведь это же историческая личность. С нее, с моей тетушки, Толстой писал Наташу Ростову, вы наверно читали его знаменитый роман «Война и Мир». — Но, продолжая болтать и упрашивать «товарища», я уже поняла, что он вообще ничего не читал, не хотел слушать и уговаривать его было совершенно бесполезно. Он молчал, курил и хлопал бесцветными глазами. А люди лезли к нему со всех сторон.

— Вот мое удостоверение. Я должен ехать в Курск, — басом рычал толстый человек в синих очках.

Начальник станции быстро взглянул на удостоверение и сделал какую-то пометку.

— Вы не можете мне отказать, вы обязаны, — визжала маленькая женщина в кожаной куртке, с коротко остриженными волосами, похожая на мужчину, — вы должны меня посадить, я командирована партией, я буду жаловаться . . .

— Подождите! — начальник быстро встал, схватил телефонную трубку, тотчас же положил ее на место и, не оборачиваясь, втянув голову в плечи, быстро вышел из комнаты.

— Не ждите, — сказал один из чиновников, — если он вышел на платформу, значит теперь уже больше не вернется.

Делать было нечего. Мы двинулись к выходу вместе со всей толпой. Нас остановили.

— Это ваш багаж? Откройте!

— Ой, Саша, какой ужас, они рукописи мои все перемешают.

— Эй вы, буржуи, — кричали на нас позади, — двигайтесь что ли, весь проход загородили!

— Аль не видишь, бабка то эта видно с того света свалилась, знать не всех еще буржуев поизничтожили! Чёрт бы их . . .

У тетеньки руки так тряслись, что она никак не могла достать ключи из сумки.

— Хлеб везете, муку? Признавайтесь что ли! — кричал чиновник.

— Ничего у меня нет, — умоляюще шептала тетенька, — ничего, платья, белье...

— Драгоценности есть? золото, драгоценные камни?

— Нет, нет ничего такого нет, пустите, пожалуйста... товарищ...

— Какой ужас, Саша, ведь это же настоящие разбойники, — шептала тетенька.

— Шшшш, тише, тише, ради Бога...

Пошарив рукой по дну чемодана и встряхнув несколько тетенькиных поношенных платьев и шалей, — Ладно! — по начальнически крикнул товарищ. — Можете закрывать!

Облегченно вздохнув, мы вышли на платформу. Поезд еще не приходил, но народ уже стоял сплошной стеной, напирая друг на друга и стараясь продвинуться вперед. В конце платофрмы, где толпа была реже, я опять усадила тетеньку и побежала на разведку. Оглянувшись, я прокричала ей несколько ободряющих слов, хотя в душе у меня было очень неспокойно. Такая она была жалкая, напуганная, так резко выделялась из этой серой, грубой толпы в своей старомодной мантилье и фетровой, маленькой шляпке с каким-то перышком на голове. А могучий, старорежимный носильщик стоял перед ней, как изваяние, защищая ее от напора толпы.

Когда наконец поезд медленно подходил к вокзалу, люди точно взбесились, они били, толкали, топтали друг друга, на ходу взбирались на подножки поезда, падали и в несколько минут заполнили весь поезд, взбирались на крыши, повисали гроздьями на подножках. Несколько человек метались по платформе, тщетно стараясь где-то приткнуться, и я металась вместе с ними, как вдруг увидала знакомого кондуктора.

— Ох, как я рада, что увидала вас... Пожалуйста, приткните куда-нибудь мою старенькую тетеньку, помогите, она старенькая, едет в Ясную Поляну.

Кондуктор покачал головой.

— Я бы с моим удовольствием. Сколько раз графа покойного возил, теперь, сами посудите, яблоку упасть негде. Не могу... Рад бы...

— Может быть в служебное отделение?

— Забито всё, — он в отчаянии махнул рукой.

По платформе еще бегали люди, надеясь каким-то чудом попасть на поезд. И я носилась вместе с ними, почти потеряв надежду посадить тетеньку. И вдруг я увидала Пульмановский вагон.

— Кто в этом вагоне? — спрашиваю.

— Комиссары.

— Впустите меня, я должна поговорить с ними.

— Невозможно.

Я подошла к окну: — Товарищи, товарищи!

Ответа не последовало.

— Товарищи, кто-нибудь подойдите к окну, срочное дело.

В окне появилась лохматая голова.

— Что такое, товарищ?

— Сестра писателя Льва Толстого, семидесятилетняя старушка должна сегодня уехать в Ясную Поляну. Толпа ее чуть не задавила, пожалуйста, она немощная, хрупкая, возьмите ее в свой вагон.

Что я болтала, я и сама не знаю, в голове была только одна мысль, тетеньку надо посадить и отправить.

— Пожалуйста, товарищи!

— А вы кто такая будете?

— Я дочь Толстого, Александра Львовна.

— Подождите минутку, — лохматая голова скрылась и через минуту снова появилась в окне.

— Ну так и быть, возьмем вашу старуху, давайте-ка ее сюда!..

Я помчалась на другой конец платформы, где меня ждала тетенька.

— Скорей, скорей, тетенька, идем!

Добежали до пульмана. Тетенька задыхалась, я боялась, как бы у нее не сделался разрыв сердца. Носильщик втянул ее в вагон, я подпихивала ее сзади, едва успели втащить вещи. Третий звонок. Свисток. Тетенька, стоя на платформе что-то говорила, но что — не было слышно.

А через несколько дней я получила от нее письмо. Она прекрасно доехала. Вагон был хорошо натоплен, чистый и товарищи оказались приветливыми. «Они даже угощали меня жареным цыпленком, — писала она, — но были несколько разочарованы, что я оказалась не сестрой Толстого, а только его 'бэль сер'. Но теперь, — заканчивала она письмо, — я уже никуда не поеду, только на тот свет».

ГЛАВА 4

«СУДЬБЕ ВОПРЕКИ»

— Почему бы нам не начать издавать Толстого? — спросил меня раз приехавший из Петербурга писатель. — Неужели вы никогда об этом не думали?

— Ну конечно, думала, — отвечала я, — но нельзя же издавать сейчас, когда всё разрушается . . .

— Именно сейчас, в 1918 году, — сказал он со спокойной уверенностью, — судьбе вопреки. Разве нельзя начать хотя бы редакционную работу?

— Из этого ничего не выйдет.

Но мысль запала. И чем больше я думала, тем возможнее и заманчивее казалось это дело.

Полные собрания сочинений, печатавшиеся до сего времени матерью, Сытиным и другими, были далеко не полными. Некоторые произведения, как например «Воскресение», были искажены цензурой, религиозно-философские статьи запрещены совсем, дневники и письма напечатаны лишь частично.

Друзья, с которыми я советовалась об организации этого дела, отнеслись к нему сочувственно. Мысль о созидательной, творческой работе во время всеобщего разрушения их увлекала. Особенно горячее сочувствие я встретила в Петербурге. Анатолий Федорович Кони, академики Алексей Александрович Шахматов, Всеволод Измайлович Срезневский, писатель Александр Модестович Хирьяков, толстовец-финн и другие, — все приняли горячее участие в организации, которой мы дали название: Общество изучения и распростра-

нения творений Л. Н. Толстого (позднее оно было перерегистрировано в Кооперативное Товарищество).

В Петербурге мы собирались большей частью на квартире у моряка-толстовца. Несмотря на скромное положение редактора кокого-то морского журнала, у него на Васильевском Острове была прекрасная квартира, похожая на кают-компанию, со множеством картин с морскими видами по стенам. В царские времена этот толстовец-финн издавал отцовские запрещенные статьи, сидел за них в тюрьме, ввозил их контрабандой на своей яхте из Финляндии.

Для начала работ надо было достать денег. От сумм, вырученных от издания посмертных произведений отца и истраченных согласно его воле на покупку яснополянской земли для крестьян, осталось около 20 000. С помощью книгоиздательства «Задруга» нам удалось выцарапать из банка эти деньги.

Позднее книгоиздательство «Задруга» согласилось взять на себя издание первого полного собрания сочинений Толстого и оплачивать нашу редакционную работу. К «Задруге» присоединились московская «Кооперация» и некоторые другие центральные кооперативные организации.

Первым нашим руководителем по работам в Румянцевском Музее, где хранились все рукописи отца до 1880 года, был Тихон Иванович Полнер, позднее его заменил проф. Ал. Евг. Грузинский. В. И. Срезневский приезжал в Москву периодически. В одной из больших зал Музея, где мы меньше всего мешали стуком машинок, нам поставили несколько столов. Музей не отапливался. Трубы лопались, как и везде. Мы работали в шубах, валенках, вязаных перчатках, изредка согреваясь гимнастическими упражнениями.

Стужа в нетопленном, каменном здании, с насквозь промерзшими стенами, куда не проникает солнце, где приходилось часами сидеть неподвижно, — хуже чем на дворе. Согреться невозможно. Сначала остывали ноги, постепенно леденящий холод проникал глубже, казалось насквозь промерзало всё нутро, начиналась дрожь. Мы запахивали шубы, старались не двигаться, но дрожь усиливалась, стучали зубы.

Неизданная комедия «Зараженное Семейство», начало повести «Как гибнет любовь», дневники, письма, варианты

«Детства», бесконечные варианты «Войны и Мира», были уложены в двенадцати желтеньких ящиках, набитых так, что когда вынималась рукопись, запихнуть ее обратно было почти невозможно. Мать любила рассказывать, как один из братьев убирал кладовую и выбросил в канаву вместе со всяким хламом груду бумаг. «Хорошо, что я заметила, — заключала она свой рассказ, — я глазам своим не поверила, когда увидала, что это рукописи 'Войны и Мира'. Кабы не я, все рукописи погибли бы».

Забывая холод и голод, мы читали новые сцены, характеристики героев «Войны и Мира» и бывало иногда непонятно и обидно, зачем отец выбросил те или иные страницы.

Мы радовались, как дети, когда удавалось разобрать трудные слова, хвастались друг перед другом. Машинистки состязались в количестве напечатанных листов.

Брат Сергей и я проверяли дневники. Сначала он следил по тексту, затем я. Мы привыкли к почерку отца, но все же нам приходилось прочитывать одно и то же бесконечное число раз, находя все новые и новые ошибки. Мы особенно торжествовали, когда находили такие ошибки, как вместо Банкет Платона, как было напечатано в дневниках издания Черткова, оказался Бином Ньютона.

Работа увлекла решительно всех. Среди нас были знатоки иностранных языков. Они выправляли французский текст переписки отца с тетенькой Татьяной Александровной. Это были дамы гладко причесанные, в стареньких, когда-то очень дорогих шубах.

Моряк-толстовец, хороший фотограф, работал в другом помещении, снимал неизданные произведения отца. В то время нам мерещились новые бои с большевиками на улицах Москвы, разрушение, гибель рукописей. Мы переписывали, фотографировали и держали копии в разных местах. Одна из копий неизданных произведений была даже послана в Университет «Станфорд» в Америку.

К двенадцати часам, когда дрожь во всем теле делалась совершенно невыносимой, звали пить чай. Каждый из нас брал с собой свою посуду, принесенную из дома, завтрак, и мы все шли вниз в подвальный этаж. Откуда-то приносились громадные чайники с кипятком.

Профессора, ученые, исхудавшие музейные работницы, сняв перчатки, грели руки о дымящиеся кружки. Бережно, стараясь не расплескать, они несли драгоценную мутную жидкость, напиток из сухой моркови и земляничного листа, который мы называли чаем, каждый разворачивал свой пакетик с завтраком: кусочек пайкового хлеба, две картошки, сухую воблу.

— Морковь чрезвычайно питательна, — говорил один из ученых, разворачивая газетную бумагу, из которой показывались две темные вареные «каротели», — она вполне может заменить хлеб . . .

— Да, но ее тоже не всегда можно достать. Вы знаете, моя жена делает замечательные лепешки, она в ржаную муку прибавляет картофельные очистки и, когда может, — яблоко.

Я старалась не замечать этих голодных глаз, дрожащих, жадных рук . . .

Чай горячий, обжигает горло, но стараешься поглотить его как можно больше. Две, три большие кружки. С завистью мы косились на одного из профессоров, у него черный хлеб переложен тоненькими кусочками прозрачного копченого сала. Сахара почти ни у кого нет. Охотно предлагают друг другу сахарин.

Я приношу себе большей частью тоненький кусочек хлеба и воблу. Она твердая, ее надо долго жевать, и потому на время исчезает чувство голода, а главное, после соленого можно влить в себя большее количество чая.

Но вот мы разогретые, веселые, снова садимся за рукописи. В глазах рябит от косого, неразборчивого почерка. В самых ранних рукописях он мельче и буквы круглее. Мы погружаемся в рукописи. Еще три с половиной часа холода, а остывание наступает скорее, чем утром.

Эти несколько лет, которые мы проработали в Румянцевском Музее, были для меня самыми яркими и, пожалуй, счастливыми в мрачные, безотрадные дни революции. Проделанная нами работа давала большое внутреннее удовлетворение. За эти годы были разобраны, каталогизированы, переписаны, сверены с текстом и частью сфотографированы

рукописи, хранящиеся в Румянцевском Музее. Многие произведения были проредактированы и подготовлены к печати.

В 1923 году книгоиздательство «Задруга», преследовавшееся много лет, было окончательно разгромлено большевиками. Это было началом уничтожения всех кооперативных писательских организаций. Денег на редакционные работы взять было неоткуда. После долгих колебаний мы наконец согласились соединиться с В. Г. Чертковым и нашу совместную работу предложить для напечатания Госиздату.

В. Г. Чертков в то время сорганизовал вокруг себя редакционную группу, состоящую большей частью из толстовцев, работавших над редактированием произведений, написанных отцом после 1880 года.

К 1928 году — столетию со дня рождения отца — должно было выйти первое полное собрание сочинений Толстого в 90-ти томах. Но с момента перехода нашего дела к государству я перестала им интересоваться. Издание Толстого было одним из тех многочисленных дел, которые громко рекламируются, но в сущности не делаются большевиками. С одной стороны большевики запрещали народным библиотекам и школам держать книги Толстого; религиозно-философские статьи и «Круг Чтения» сделались библиографической редкостью, — с другой, большевики взялись издавать 90-томное собрание сочинений Толстого, которое в конце концов за шесть лет свелось к выпуску в количестве 1 000 экземпляров нескольких томов.

И кто же может купить это полное собрание, стоющее около 300 рублей? Иностранцы? Сами большевики? Разумеется, ни рабочий, ни крестьянин, ни голодающий интеллигент. Поэтому с точки зрения распространения идей Толстого издание это не имело бы никакого значения.

Но приведение в порядок рукописей отца, редакционная работа, проделанная небольшой кучкой людей в столь тяжких условиях, является одним из тех подвигов русской интеллигенции, которые «судьбе вопреки» совершались и совершаются в настоящее время в России оставшимися в живых русскими людьми.

ГЛАВА 5

«БАТЮШКА-БЛАГОДЕТЕЛЬ»

Мужики разгромили Малое Пирогово, где жил князь Оболенский, * и он с женой и детьми приехал в Ясную Поляну.

Сестра Таня уступила ему низ своего дома-флигеля, а сама переехала наверх. В большом доме жили две старушки: мама и тетенька Татьяна Андреевна. Тихо было здесь и мертво. Иногда только, когда из флигеля прибегала маленькая Танечка, оживал старый дом, просыпалась бабушка, часто дремавшая теперь в кресле-качалке. Куда девалась ее прежняя энергия, работоспособность? Ее мало что интересовало. Читать, писать ей было трудно, глаза плохи стали. Тетенька писала мемуары, иногда пела, и от ее дребезжавшего и пересекающегося, но все еще прекрасного и звонкого голоса делалось еще тоскливее.

Приблизительно в это время появился и «благодетель». Он был писатель, приезжал к отцу и раньше и всегда привозил с собой новые изобретения. В Крыму в 1901 г., когда только что появились автомобили, он приехал к нам в Гаспру, к ужасу матери усадил отца в автомобиль и укатил с ним куда-то. Позднее он привез в Ясную Поляну грамофон и несмотря на протесты отца оставил его в подарок семье. Ходил он согнувшись, точно стеснялся своего роста, и казалось, что его худое тело вот-вот сложится пополам. Должно быть лицо у него было правильное, может быть красивое, смуглое, с правильными чертами; но поражало не это, а выражение слащавости.

В 1918 году в Туле создалось общество «Ясная Поляна». Писатель был избран председателем этого общества, поселился в Ясной Поляне в бывшем кабинете отца в большом доме и стал хозяйничать.

Основание общества Ясная Поляна в момент общей разрухи, когда еще не вполне прошла волна усадебных погромов, несомненно имело большое значение. Местные больше-

* Муж сестры Маши, после ее смерти женатый на Н. М. Сухотиной.

вики, не освоившиеся с властью, может быть даже и не поверившие еще в свое могущество, действовали осмотрительно и осторожно, а то, что какое-то официальное объединение заботилось об Ясной Поляне, было очень важно. В 1919 году, когда Деникин был уже недалеко от Тулы, общество Ясной Поляны совершенно серьезно обсуждало вопрос о том, что красная и белая армии должны сговориться, чтобы бои происходили вне зоны Ясной Поляны.

Общество «Ясная Поляна» состояло из чрезвычайно порядочных людей, но вскоре оказалось, что под прикрытием общества председатель действовал самостоятельно, члены общества пробовали протестовать, но напрасно. Он говорил так ласково и сладко, таким таинственным туманом окутывал свои начинания, что члены правления молчали в бессильном недоумении. Мысль построить в Ясной Поляне школу — памятник Толстому — впервые зародилась в обществе. Таинственно появился откуда-то лес для школы и лежал несколько месяцев под дождем. Председатель выбрал место для постройки, произошла торжественная закладка фундамента, но прекрасный сосновый лес исчез куда-то так же таинственно, как появился, и писатель теперь все внимание устремил на постройку шоссе. Работали землекопы, подвозили шлак с завода Косой горы. Он отдавал приказания служащим, приказывал запрягать и отпрягать лошадей.

В те редкие приезды, когда мне удавалось навестить Ясную Поляну, я бывала не раз поражена странностью той роли, не то спасителя Ясной Поляны и ее обитателей, не то управляющего, которую взял на себя председатель общества. Он вечно что-то раздавал полуголодному и раздетому населению: кусочки мыла, шоколада и вид у него был такой, точно он благодетельствовал их по гроб жизни. Со свойственной ему ловкостью, именем Толстого он выпрашивал у правительства всевозможные продукты и вместо того, чтобы передавать их на склад Ясной Поляны для правильного распределения, разыгрывал из себя благодетеля и распоряжался ими сам, пользуясь этим для того, чтобы постоянно захватывать все бóльшую и бóльшую власть над жителями Ясной Поляны, не могущими достать ни предметов первой необходимости, ни питания.

Тетенька шутя прозвала писателя «батюшкой-благодетелем». Это прозвище так и осталось за ним навсегда.

Не знаю кому: обществу «Ясная Поляна», писателю или сестре Тане пришла в голову мысль об организации в Ясной Поляне советского хозяйства, но когда я была в Москве, ко мне приехал Коля Оболенский и спросил, не имею ли я чего-либо против его назначения заведующим.

Я откровенно сказала ему, что считаю его непригодным для этого дела. Он возразил мне, что все остальные члены его семьи, даже мама, не возражают. Я поняла, что мой протест не имел никакого значения и действительно, Комиссариат Земледелия вскоре назначил его заведующим имением.

Оболенский пропал бы без писателя и, хотя писатель его в грош не ставил, они поладили.

Власть писателя особенно возрасла, после того как, заручившись мандатами, он съездил на Украину за хлебом.

В 1918-19 годах хлеб в наших местах не родился и крестьяне голодали. Пекли хлеб с зелеными яблоками, с жёлудями. Жёлудей в те годы родилось видимо-невидимо. Крестьяне мешками таскали их домой, мололи на муку, пекли хлеб. Хлеб выходил невкусный и у всего населения зубы от жёлудевой муки были черные, точно выкрашенные. Улыбнется красивая девушка, а зубы черные, смоляные, даже жутко.

Вернулся писатель с вагонами белой муки, крупами, сахаром не только для обитателей усадьбы Ясной Поляны, но и для всей Яснополянской деревни.

— Батюшка, благодетель ты наш, — вздыхали бабы, — дай Бог здоровья ему, деткам его, внукам. Спас от голодной смерти.

Все обитатели Ясной Поляны его приветствовали.

— Пропал бы без него, — говорил Оболенский, — удивительный человек! Всё раздобудет.

Служащие в яснополянском доме не знали, как и чем угодить благодетелю, а он покрикивал на них да и на всех обитателей Ясной Поляны. Кричал на мать и на сестру, когда она хотела внести порядок в распределение продуктов.

— И чего вы вмешиваетесь, — грубо резал он, — ведь вы решительно ничего в делах не понимаете, весь ваш удельный вес равняется нулю.

Сестре было больно. А я выходила из себя:

— Выгони ты его, — горячилась я, — как он смеет говорить грубости.

Но сестра терпела. У нее более кроткий характер, чем у меня.

Я не могла не видеть, как в Ясной Поляне распоряжаются чуждые и отцу, и нам люди. Отцовским именем выпрашивали подачки у правительства, неправильно распределяли, окружали себя родственниками и фаворитами, а усадьба постепенно приходила всё в бо́льший и бо́льший упадок. Зарастал старый парк, погибали плодовые деревья, в Чепыже срезали старые березы, разрушались постройки. В доме всё изменилось, только две отцовские комнаты оставались в том же виде, что и при нем, но почему-то в кабинете грудой были навалены посмертные венки, что придавало совершенно иной характер всей обстановке.

У Оболенского было четыре помощника: три мальчика по 17 лет и бывший кучер Адриан Павлович, который тянулся изо всех сил, чтобы поддержать хозяйство. Один из помощников был сын писателя. И смешно и противно было смотреть, как этот молокосос, заложив ногу за ногу, развалясь в мягком кресте, заставлял пожилого Адриана Павловича стоять перед ним, пока он отдавал распоряжения.

Более 1150 человек были на государственном снабжении, получали пайки, хотя земля, всего 30 десятин, обрабатывалась крестьянами исполу.

Старушки держались в загоне. Помню, мама никак не могла добиться, чтобы в большом доме вымыли и вставили вторые рамы. А была уже поздняя осень, холодно, во флигеле, где жил Оболенский, дом был уже давно утеплен. Наконец, мама, стоя на сквозняке, сама стала мыть стекла.

Таня не могла добиться лошадей, когда надо было ехать в город.

Это продолжалось около года. Все чувствовали, что в Ясной Поляне неблагополучно. У Тани во флигеле устроили совещание. Благодетель долго и туманно говорил о творческой созидательной работе в Ясной Поляне, где стройный

оркестр под управлением вдохновенного дирижера будет играть прекраснейшую симфонию.

— Я желал бы играть одну из скрипок, — сказал брат Сергей, принимая всерьез речь благодетеля.

Таня на минутку оторвавшись от вязанья (она всегда что-нибудь делала), иронически улыбнулась.

— Пф! — фыркнул благодетель. — А не думаете ли вы Сергей Львович, что вы нарушите стройность оркестра? — и помолчав, добавил снисходительно. — Ну, мы вам дадим последнюю скрипку . . .

Закипело у меня внутри. И, несмотря на уговоры сестры и брата, налетела я на благодетеля, накричала, уехала в Москву и записалась на прием к Луначарскому.

Это было мое первое знакомство с наркомом по просвещению. Поразила несерьезность обстановки: письменные столы, конторки, заваленные бумагами, пишущие машинки, машинистка, стенографистка, тощий молодой человек, мольберты, два художника, скульптор . . . Луначарский позировал, художники лихорадочно работали. Нарком встал мне навстречу, приветливо поздоровался и опять сел в том же положении, как и раньше.

— Что я могу для вас сделать? — спросил он, не поворачивая головы.

Меня смутила обстановка, говорить было трудно, но я сделала усилие и коротко, обстоятельно изложила ему дело о Ясной Поляне.

— Мне кажется, — сказала я в заключение, — что Ясная Поляна должна быть не советским хозяйством, а музеем, как дом Гёте в Германии . . .

Луначарский слушал молча, не перебивая и вдруг неожиданно вскочил и стал бегать по комнате, диктуя стенографистке. Я смотрела на него со все возрастающим изумлением. Актер, играющий роль министра. Его стремительность, звучный, сдобный голос, золотое пенснэ на носу — все было «нарочно». И, играя, Луначарский упивался своим положением, властью, любовался собой и жадно следил за впечатлением, которое производил на окружающих.

Не успела я опомниться, как уже держала в руках бумагу с назначением меня полномочным комиссаром Ясной

Поляны. Внизу красовалась подпись красными чернилами: «А. Луначарский», стояла печать народного комиссариата по просвещению.

Очень довольный впечатлением, произведенным на меня, Нарком продолжал позировать, а я вышла из комнаты, ошеломленная его поступком. Победа была слишком легкая, сегодня я комиссар, а завтра могут и в тюрьму засадить.

Я выселила писателя против желания всех служащих. Тетенька уверяла, что он никогда не уедет.

Я сказала ему, что я назначена комиссаром Ясной Поляны и считаю его пребывание в Ясной Поляне бесполезным. Он по обыкновению начал говорить мне грубости. Я стояла на своем. Через полчаса я получила от него длинное письмо с точным, прекрасным изложением взглядов моего отца.

— Ваш отец не поступил бы так, — писал благодетель, — и разумеется был прав.

Через два часа сторожа выносили вещи писателя. Он уехал, провожаемый любовью и уважением всей усадьбы.

В Ясной Поляне читали вслух «Село Степанчиково» и ждали возвращения Фомы Опискина. Действительно, писатель не исчез. Несколько лет спустя мне еще раз пришлось столкнуться с ним.

Расставшись с Ясной Поляной, ему не хотелось расставаться с именем Толстого, давшим ему такое блестящее положение. Заручившись мандатом от какой-то организации или общества, писатель отправился на Украину и получил несколько вагонов с продовольствием и всяким добром, на этот раз для организации дома отдыха для украинских ученых в Крыму, в Гаспре, в бывшем имении графини Паниной, где в 1901 году тяжело болел отец.

Получив все это богатство, писатель почему-то передумал и вместо устройства дома отдыха, ликвидировал имущество Украинского Наркомпрода и уплыл в Константинополь закупать английские костюмы.

Украинские ученые, приехав в Гаспру, были поражены, найдя там пустой, необорудованный дом, разобиженные вернулись обратно и сообщили властям о том, что случилось . . .

В. О. Булгаков, бывший секретарь отца, рассказывал мне, что приехав в Севастополь к писателю, он застал там следующую картину.

Несколько недель в Севастополе жил советский чиновник, командированный Наркомпродом для расследования дела о Гаспринском доме отдыха. Писатель только что вернулся из Турции, распорядился английскими костюмами и теперь осуществлял новый проект: создание в Севастополе музея Льва Толстого.

Советского чиновника писатель просвещал, толково и ясно излагая ему учение Толстого о непротивлении злу насилием, рассказывая ему о близости к Толстому, ловко и осторожно выставляя свое значение в жизни Толстого и свою дружбу с великим писателем. Чиновник трепетал. Но один раз разговорился с Булгаковым и видя, что Булгаков не защищает писателя, он стал с жаром говорить ему о том, что писатель не имел права ликвидировать продовольствие, ехать в Турцию, покупать английские костюмы, он должен ответить перед властями за свои незаконные действия.

— Под суд, в тюрьму его!

И набравшись храбрости, ревизор заводил речь об отчетах. Писатель слушал, а затем кротко начинал говорить о христианской любви. Долго ли коротко ли продолжалась эта комедия — не знаю. Писатель не пострадал, но в крымских газетах появилась заметка, подписанная семьей Толстых и всеми толстовскими организациями о том, что мы ничего общего с деятельностью писателя не имеем и за действия его не отвечаем.

ГЛАВА 6

СМЕРТЬ МАТЕРИ

(24 ноября 1919 года)

Я пробыла несколько дней в Ясной Поляне. Собиралась ночью уезжать. Уложила чемоданы и пошла в залу пить чай. За круглым столом сидела тетенька Татьяна Андреевна и раскладывала пасьянс.

— Тетенька, душенька, погадай!

Она кончила пасьянс, велела мне снять колоду левой рукой к сердцу и разложила карты.

— Плохо, — сказала она, — очень плохо, — и быстрым движением все смешала.

— Все равно скажи, что вышло?

— Отстань, не скажу, очень плохо . . .

Я пристала:

— Скажи, умоляю, ради Бога скажи.

— Изволь. Болезнь вышла и смерть близкого человека. Не уедешь ты никуда сегодня . . .

Я не засмеялась, не стала ее слова обращать в шутку. Было тяжело на сердце. Выл ветер и чувствовалось, как там, за окнами, холодно и темно.

— Тетенька, — сказала я, — если я сниму колоду и выйдет семерка пик, то ты сказала правду.

Шумели деревья в саду, на столе кипел самовар.

— Семерка пик! — крикнула я, открывая колоду.

Мы не удивились, когда увидели ее, эту семерку пик, но было жутко. Я смешала карты.

— Туз пик!!! — крикнула я опять, дрожа всем телом. И опять не удивилась, когда увидела туза пик.

— Глупости какие выдумываешь, — неожиданно рассердилась тетенька, — сейчас же брось! Чай будем пить, пойди, мамá позови.

Она быстрыми шагами подбежала к столу и стала заваривать чай, а я пошла в спальню матери. В комнате ее был полумрак. Горела на письменном столе маленькая керосиновая лампочка.. Мама лежала на кровати, уткнувшись в подушку, лицом к стене. Она казалась маленькой и худенькой и дрожала с ног до головы.

— Мама, что с тобой?!

— Холодно, укрой меня.

Я пощупала голову, шею. Она вся горела. Я поставила градусник. Он показывал 39,3. Я раздела ее, напоила чаем с вином. Озноб продолжался. Прибежали тетенька, Таня.

Врачи на другой день определили воспаление в легких.

Таня, дочь Ильи Васильевича,* Верочка, тетенька и я ухаживали за нею. Она очень страдала. Мучил кашель, одышка. От стены кровать отодвинули и поставили по се-

* Один из старых служащих.

редине комнаты, чтобы легче было менять компрессы, ставить мушки и банки. Трудно отделялась мокрота.

Она не жаловалась, мало стонала, ни на кого не раздражалась. Была кротка и спокойна. Должно быть чувствовала, что умирает и не боялась смерти.

За два дня до смерти она позвала Таню и меня.

— Мне хотелось бы сказать вам, прежде чем я умру, — сказала она, — что я очень виновата перед вашим отцом. Может быть, он и умер бы не так быстро, если бы я его не мучила. Я горько в этом раскаиваюсь. И еще хотелось вам сказать, что я никогда не переставала любить его и всегда была ему верной женой.

Она смотрела на нас своими большими, близорукими, невидящими глазами. Она мне казалась такой прекрасной, неземной . . .

Она умерла от отека легких. Она говорить не могла, но прекрасные черные глаза смотрели, как будто все еще понимали. Я не могла видеть ее страданий и вышла из комнаты, в которой до последнего вздоха оставались Верочка и тетенька.

Похоронили ее на кладбище по православному, рядом с Машей.

ГЛАВА 7

ТАЙНАЯ ТИПОГРАФИЯ

Я жила в доме и в квартире графа Дм. Адам. Олсуфьева, который был объявлен врагом народа и приговорен к смертной казни, но успел уехать заграницу.

В самой большой комнате была редакция Общества Изучения Творений Л. Н. Толстого. Я жила в маленькой комнате рядом с ванной. Дом был национализирован большевиками и управляющий графа — Михаил, которого мы считали преданным графу — оказался большевиком, и доносил на людей, которым он еще так недавно подобострастно с поклонами открывал двери в графскую квартиру.

Теперь он с таким же подобострастием кланялся чекистам, которые пришли делать у меня обыск. Они обыскива-

ли квартиру больше часа. Открывали все шкапы, комоды, выкинули из корзины грязное белье, перевернули постельное белье на кровати, осматривали и стучали по стенкам, ища потайных шкапов.

— Что вы ищете? — спросила я с раздражением. — Оружие, прокламации, драгоценности? Скажите, мне скрывать нечего.

Но чекисты молчали и продолжали обыск. У меня не было ни золота, ни драгоценностей, но на столе лежала литографированная поэма моего друга Игоря Ильинского «Воскресший Карл Маркс», поэма, за которую он впоследствии попал на Соловки. Я стояла, облокотившись на письменный стол и незаметно сдвигала левым локтем поэму со стола. Моя секретарша, живущая в том же доме внизу и присутствовавшая при обыске, ловко подхватила поэму и спрятала ее за пазуху. Кроме того меня очень беспокоил револьвер, который был мной спущен в трубу соседнего дома на веревочке. Но чекисты не догадались вылезти на крышу через окно и искать запрещенных предметов в трубе. «Слава Богу, пронесло», думала я.

Трудно описать чувство гадливости, омерзения, бессильной злобы, которое испытываешь при попрании человеческого достоинства, прав, отсутствия уважения к человеку.

— Подойдите сюда, — грубо крикнул мне чекист. Он напоминал мне урядника или городового старого времени. И, косо поглядывая на своих товарищей, он вытащил из под пачки бумаг ордер и молча протянул мне. «Искать тайную типографию!» прочла я с изумлением.

— Я вижу всю неосновательность этого приказа, — сказал чекист, — вы не могли бы спрятать здесь типографские машины.

— Откуда же вы это взяли? Кто вам сказал такую ерунду?

— Нам донесли, что вы печатаете здесь контрреволюционные листовки . . . Управдом, — добавил он шепотком.

— Вы знаете, чей это портрет? — спросила я, указывая на портрет моего отца, висевший на стене.

— Маркс?

— Нет, это Лев Толстой, мой отец, он был знаменитым писателем. К сожалению, не все его работы еще напечатаны,

вот мы и подготавливаем его рукописи для нового издания.

— Вот оно что . . . — задумчиво сказал чекист, — а правительству это известно?

— Ну конечно, наше общество формально зарегистрировано.

— Эй, товарищи! — крикнул он повелительно громко. — Идем, что ли . . . нам видно делать здесь нечего . . . Зря только гражданку побеспокоили.

И он пошел к двери.

Управдом, подобострастно изогнувшись и глупо ухмыляясь, открыл товарищам парадную дверь.

ГЛАВА 8

МЕНА

Я роюсь в старинных кованных сундуках. Широкая, старомодная канаусовая юбка! — Нет, не годится; белая мантилья, обшитая мехом на белой шелковой подкладке. Моя мать была такая красивая в этой мантилье! Встает образ: прическа старинная на рядок, розовое, нежное лицо, чепчик, громадные, наивные, близорукие глаза. Ни за что! Старомодное драповое пальто. Пригодится самой. Теперь такого не достанешь. Можно сделать куртку, драп мягкий, теплый. Бумазейный халат! Годится. Кусок шевиота, жалко немножко, но делать нечего. Его можно выменять на пуд, а то и полтора муки. Может быть в придачу фунтов пять соленого сала?

И вот мы едем — племянник Илья * и я. В ногах узел с барахлом. Племяннику 17 лет. Он в отцовской белой меховой поддевке, подпоясанной ремнем, в серой папахе, гибкий, ловкий. Гнедой, большеголовый жеребец Осман с длинным пышным хвостом, играючи бежит в легких санках. Племянник сидит немножко сбоку, выставив ногу в белом валенке, как делают хорошие кучера, чтобы в случае чего на раскате удержать легкие санки.

---

* Сын брата Андрея.

До Коровьих Хвостов верст 18. Въезжаем во двор того самого семейства однодворцев, где, бывало, отец останавливался по дороге в Пирогово. Заводим жеребца в широкий двор. Хозяин бросает ему охапку сена. Большой дом, две комнаты. В первой — большая печка, нары, здесь спят. Вторая — чистая. На окне герани, подвешен горшок с вьющимся растением, на стенах иллюстрации из Нивы — какие-то генералы, модные картинки.

Ставят самовар, на столе ветчина, ситник, мед. Живут хорошо, харчей много, продналог не так велик. Здесь на черноземе родится хлеба много, греча, пшеница. Развязываю узел. Бабы рассматривают как следует, не пропустят ни одного пятнышка, ни одной дырки на старой юбке. Смотрят на свет, растирают между пальцев, иногда крепость пробуют зубом.

— Больше пяти фунтов черной за юбку дать нельзя.

Мне стыдно, но я торгуюсь, прошу 10 фунтов. Сходимся на шести с половиной.

— Вот хочу я спросить тебя, — говорит старуха, не принимавшая никакого участия в торговле и сидевшая молча, подперев щеку морщинистым кулачком, — как это от таких богатств, от такого имения ты старые юбки на муку меняешь? Куды ж это все девалось, что при графу было? Ты бы приказала, чего тебе нужно, тебе б из анбара и насыпали!

— Нельзя, бабушка, теперь все правительству принадлежит, не нам, все на счету. Коли прикажешь насыпать чего или сама возьмешь, как бы в тюрьму не угодить!

— Не пойму я. Ну как же так? Какую же они имеют праву вашим добром распоряжаться? Ну, как же жить-то теперича, коли все отняли? А ты не торгуйся больно-то, — обратилась она к невестке, — прибавь фунтик, кабы господам не крайность, неужели ж они стали бы старым барахлом торговать!

Мы ехали домой сытые и довольные. В ногах стояли мешки, наполненные мукой, картошкой и гречневой крупой и я то и дело ногой ощупывала большой кусок соленого сала, плотно лежавшего под ногами.

«Только бы до Москвы довести, — думала я, — почти на всю зиму хватит».

ГЛАВА 9

ТРАНСПОРТ

— Чего толкаетесь, барыня?

— Я не толкаюсь, ноги устали стоять...

— Топочет ногами, как кобыла. Аль тебе не нравится в товарном ездить? Тебе бы, барыня, в комиссарском вагоне ездить, коли этот не нравится!

— Голубушка моя бедная, — прошептала мне молодая женщина, — уморилась ты видно, не привышная. Слушай, я тебя научу. Ты не стой на ногах-то все время, дай им отдохнуть, подожми их. Не бойся, не упадешь...

Я послушалась, поджала ноги и повисла на плечах соседей. За несколько минут ноги отдохнули. Таким образом я могла простоять двадцать и больше часов, когда приходилось ездить из Ясной Поляны в Москву.

Товарные вагоны не чистились. В них возили и людей и скотину. Ноги утопали в жидком навозе. Поезд часто останавливался даже на самых маленьких станциях, иногда останавливался в лесу — не хватало топлива. В таких случаях выгоняли пассажиров из вагонов и заставляли собирать дрова.

Один раз, когда я ехала из Ясной Поляны в Москву, я влезла в товарный вагон. К моему удивлению в вагоне было просторно. Можно было сидеть на полу и даже вытянуть ноги. Пассажиры мне показались какими-то странными. Некоторые лежали на полу и стонали, другие что-то быстро и бессмысленно бормотали, как в бреду.

И я поняла. Это были тифозные больные. Их отправили откуда то с юга в Москву. Но они были одни, с ними не было ни доктора, ни сестры, ни даже санитара.

Я хотела вылезти на следующей станции, но подумала о том, как ужасно было бы снова ломиться с толпой в грязные, тесные вагоны, и раздумала. Авось, Господь поможет...

Иногда, особенно летом, в товарных вагонах было легче путешествовать.

. . . .

Лето, ночь. Каким-то образом я залезла в открытый вагон, нагруженный каменным углем.

Тепло и сидеть на угле удобно. А что грязно — не беда. Приеду домой — отмоюсь.

Я везла муку и только это меня волновало. На станции Лаптево всегда свирепствовал реквизиционный отряд, отнимал продовольствие. А если отнимут муку, придется в Москве на полфунте хлеба в день сидеть, да и тот пополам с мякиной.

Мои товарищи пассажиры также волновались. Некоторые из них разрывали ямы в угле и прятали туда мешки с мукой.

Я чувствовала страшную усталось, да и противно было прятать, скрывать: что будет, то будет. Тяжелые вагоны катились погромыхивая колесами, но вдруг поезд замедлил ход, застучали друг о друга буфера, заскрипели колеса и поезд остановился.

— Вон они, дьяволы, у третьего вагона . . . так и есть отряд, — шептали кругом.

Не успели мы оглянуться, как солдаты в остроконечных шапках, волоча по земле винтовки, подходили к нашему вагону.

Молча, с нескрываемой злобой они принялись штыками раскапывать уголь и вытаскивать мешки с крупой и мукой.

Кричали мужчины, женщины плакали, ничего не помогало: солдаты безжалостно кидали мешки на платформу. Люди бежали за солдатами все еще надеясь получить свое добро обратно.

— Христа ради, товарищи, отдайте мне мой хлеб! Больная жена, дети у меня в Серпухове, две недели за хлебом проездил. Погляди на меня — замучился, обносился, отощал, обовшивел весь. Думал — приеду, хоть семью от голодной смерти спасу . . . Сжальтесь, товарищи! . .

— Свиньи, собаки проклятые! Сатанинское отродье! — кричал другой. — Разорили, сволочи!

— Но помните, не пройдет вам это даром! Не избежать вам суда Господня! Скоты бездушные! . .

— Аль в тюрьму захотел?! — гаркнул на него солдат. — Сейчас арестую.

Я сидела на своем мешке с мукой и наблюдала.

Чемодан и другой мешок лежали возле меня. Солдат штыком стал разрывать уголь вокруг меня.

— Не трудитесь, товарищ, — говорю, — я ничего не прятала, здесь все.

Что везете, гражданка?

— Муку, крупу, картошку и сало.

— На продажу?

— Нет, для себя.

— А ну ее к чёрту! — обругал солдат неизвестно кого и отвернулся. Я была спасена. Правда, были еще реквизиционные отряды в Москве, в центральном багажном отделении, но пассажиры надеялись, что поезд остановится, не доезжая до Москвы.

Я безумно устала, клонило ко сну.

Я достала из чемодана несколько копий известий, которыми были переложены мои вещи, расстелила их на уголь, подложила мешок с мукой под голову и крепко заснула. Когда я проснулась, было уже утро. Я вынула из сумки маленькое зеркало, чтобы пригладить волосы. О ужас, руки, лицо были черные, как у трубочиста. Но это было не важно, важно было то, что мы подъезжали к Москве.

ГЛАВА 10

БРИЛЛИАНТЫ

Ночь. В квартире холод. Надымила проклятая лилипутка. Немалым усилием заставила себя умыться на ночь: в ванной комнате не больше двух градусов тепла, может быть и мороз . . .

Я в постели. Тяжело от одеял: шерстяных, ватных, байковых — всяких. Сверх всего наваливаю еще завезенную из деревни чуйку. По телу начинает разливаться благодатное тепло, только ноги холодные, как лед.

Я вытягиваю руку из-под тяжести своих покрывал, тушу свет и почти в ту же секунду засыпаю.

Бум! Бум! Бац. Я в ужасе просыпаюсь. «Что это? — Дверь парадного сотрясается от ударов. Звонка, разумеется,

у меня нет, их сейчас нет ни в одной порядочной квартире.

— Отоприте! Эй! Отоприте, вам говорят! — слышатся возбужденные голоса.

Блаженное тепло нарушено. Внутри опять задрожало, не то от холода, не то еще от чего-то.

— Отпирайте же скорей! Это я — председатель домкома!

— Сейчас!

Привычным движением ноги сразу попадают в валенки, на ходу натягиваю на себя халат, второй рукав вывернулся и никак не хочет надеваться.

— Чёрт! Чёрт! Чёрт возьми!

Я не знаю, кого я ругаю — рукав, холод, тех, кто в такой поздний час ломится в дверь.

— Кто это? Что вам от меня надо? Ведь уже двенадцать!

— Обыск! — и председатель домкома с поднятым воротником пальто, ежась и часто мигая, втискивается в переднюю.

— Ордер есть? — спрашиваю у кожаных курток, сразу заполнивших маленькую переднюю.

— Есть! . . — председатель старается не смотреть на меня.

Ордер не только на обыск, но и на арест.

И вот я стою в темном переулке с наскоро собранным чемоданом. Тихо, кругом ни души. Молча суетятся вокруг автомобиля кожаные куртки, резко и гулко рычит машина.

— Ну, полезайте, что ли!

Я невольно дергаюсь в сторону, оглядываюсь. Знакомое чувство ужаса охватывает меня. Дрожь передается в колени, в нижнюю челюсть, стучат зубы . . . Вспоминается обстрел на фронте. Тоже бежать было некуда, спасение одно: скорее вызвать в душе, то, что помогало тогда. Только оно одно может унять толчки сердца, ломающую все тело дрожь! И пока машина мчится по пустым улицам к Лубянке, мысли со страшной быстротой проносятся в голове, и не знаю, от быстрого ли движения, или оттого, что удалось вызвать то самое чувство, которое, как броня, защищает от страха тюрьмы, смерти, я успокаиваюсь. Меня впихивают в камеру, щелкает за мной затвор, я нащупываю в полутемноте жесткие нары, ложусь и засыпаю, как убитая.

— Гражданка, вставайте умываться! Кипяток принесли!

Открываю глаза. В камере, с окном, загороженным соседней стеной, почти также темно, как ночью. Рядом со мной, сидя с ногами на койке, тяжело дыша и охая, что-то искала в корзине полная, пожилая женщина; в другом углу весело щебетали три, очень похожие друг на друга молодые, со светлыми волосами девушки.

— Латышки, — шепнула мне полная женщина, — за спекуляцию попали.

— А вы за что?

Она подозрительно посмотрела на меня.

— Да сама не знаю... Такое дело вышло, ну да это долго рассказывать...

Но она была болтлива и желание поделиться с кем-нибудь своим горем распирало ее.

Сначала она косилась на латышек, старалась говорить шепотом, но они не обращали на нас внимания и болтали по своему, должно быть о драгоценностях, которыми спекулировали, так как беспрестанно слышалось слово «карат».

— Чекистски, — снова шепнула мне соседка, — они скоро выпорхнут отсюда.

К вечеру я знала всю ее историю. Ее муж полковник. Он ушел с белыми на юг. Она жила в Москве с падчерицей и сыном 15-ти лет. Жила плохо, кое как перебиваясь, продавая последние вещи. Долгое время не знала, жив ли муж, но вдруг, месяц тому назад, приехал военный с фронта и привез ей письмо: полковник жив, здоров, радуется, что может прислать о себе весть, надеется на лучшее будущее.

— Знаете ли, я чуть с ума не сошла от радости, и не знаю, куда мне этого вестника посадить, чем угостить. Развела самовар, печку разожгла, немного было у меня крупчатки, маслица топленого; я знаете ли, лепешек пресных напекла, сахара головного, это еще у меня старый запас, из сундучка достала, вареньица — напоила, накормила его, а он так хорошо про мужа рассказывает: как это муж выглядит, да как нас вспоминает. Я, знаете ли совсем расстроилась и говорю ему:

— Господи, и когда мы вместе будем, когда это мучение-то кончится?

— Скоро, — говорит, — скоро, вот белые подойдут.

— А я, знаете ли, вздохнула так это тяжело и говорю: уж послал бы Господь скорее! Вот, верите ли, только это и сказала! Коля и Женичка тут же сидят — слушают. Коля, знаете ли, у меня чувствительный, даже заплакал!

Ну, часов этак около шести проводили мы военного, ужинать не стали, только Коля кашки немного поел, очень взволновал он нас, приезжий этот. Коля даже уроки не мог учить, все папочку вспоминал. Часов в одинадцать уложила я детей, сама легла, только знаете ли, никак не могу заснуть — такая радость и вместе с тем тоска меня охватили, ворочаюсь с боку на бок, а спать не могу. Вдруг слышу громко автомобиль зашумел, а я знаете ли живу за рекой, в тихом переулке рядом с Ордынкой, автомобили редко к нам заезжают. А тут, как остановился у нашего домика, меня, знаете ли, так в сердце и толкнуло...

Ну, ввалились в дом... Обыск только так, для проформы сделали, ничего, конечно, не нашли, взяли нас с Колей, посадили в автомобиль и привезли сюда. Коля бледный такой, а сам, знаете ли, все меня успокаивает: «Не бойся, мамочка, это недоразумение, нас выпустят». Он сейчас над нами в камере сидит! — и, закрыв лицо платком, полковница горько заплакала.

— Я не за себя боюсь, за него, за Колю, ведь ребенок еще, совсем ребенок, — и снова заколыхалась от рыданий, — и за что же? За что? Ведь я же ничего не сказала, ничего!

— Знаете ли, — она перегнулась своим тучным телом в мою сторону и зашептала мне в самое ухо, — меня расстреляют! Я чувствую, я знаю, что расстреляют! Коля, мальчик! Что он без меня? Пропадет! — и она опять залилась слезами. Я утешала ее, как умела.

Утром надзиратель принес в бумажке немножко мелкого сахара.

— Из верхней камеры молодой гражданин прислал...

— Коленька! Мальчик мой ! — шептала мать. — Не надо, не надо! — вдруг стоном вырвалось у нее. — Как же это так, он без сахара, весь свой паек прислал. Возьмите, ради Бога, отдайте ему назад. Скажите, что не надо, у меня много. — Она торопилась спустить толстые ноги с кровати, но в ту минуту, как она подходила к двери, надзиратель быст-

ро повернулся, вышел и запер за собою дверь, а она жалкая, растерянная стояла с протянутой рукой и все причитала:

— Мальчик мой! Коля! А? Прислал, себя лишил! Ах, какой он у меня добрый, какой добрый! . .

Днем выпустили латышек. Вечером меня вызвали на допрос.

— Ну что? Как? Скоро нас выпустят? — спрашивала полковница.

Мне не хотелось отвечать, а ей хотелось говорить о себе. И снова она повторяла то, что ее непременно расстреляют, говорила о Коле, о его большом, добром сердце.

А на другой день надзиратель, улыбаясь, опять принес от Коли дневную порцию сахара и кусочек селедки в просаленной бумажке, выданные накануне к ужину.

— Ах, какой он у меня, я, знаете ли, и не видывала таких, — говорила она, — Господи и вдруг расстреляют?! Ну скажите, ведь не могут же расстрелять ребенка? Ведь он еще совсем мальчик, совсем мальчик . . .

Ее отчаяние было так велико, она так бурно выражала его, что мне и в голову не приходило думать о себе, я изо всех сил старалась успокоить несчастную женщину. А она весь день охала, плакала, по ночам не спала, ворочалась, вздыхала, молилась. Я измучилась с нею.

На пятый день в камеру вошел надзиратель.

— Гражданка Толстая! Собирайте вещи!

— Куда?

— На волю!

Я торопливо стала укладываться, одеваться. Полковница суетилась и волновалась не меньше меня. Когда я уже была готова, и надзиратель пошел к дверям, она вдруг сунула мне в руку что-то твердое.

— Передайте, Коле, детям, когда меня расстреляют. Все, что у меня осталось . . . — шептала она. — Адрес, — и она сунула мне в карман записку.

— Эй, гражданка, поторапливайтесь, что ли! — крикнул мне надзиратель.

Схватив вещи, я пошла за ним.

— Оставьте здесь, — сказал он, ткнув пальцем в чемодан, когда мы подошли к комендатуре.

— А куда же вы меня?

— На допрос.

Вынув из кармана носовой платок, я незаметно завернула в него твердые предметы, которые мне дала полковница и крепко зажала их в руке.

— Если найдут — расстреляют, — мелькнуло у меня в голове.

Допрос был ненужной формальностью. Никаких данных о моей контрреволюционной деятельности у следователя не было, и меня снова повели в комендатуру. Чемодан мой был раскрыт, в нем рылись чекисты.

— Пройдите сюда, гражданка, — я попала в маленькую комнатку, где меня встретила латышка.

— Раздевайтесь!

— Зачем?

— Раздевайтесь, вам говорят! Обыскать надо.

Я сняла платье.

— Что вы не понимаете? Раздевайтесь совсем.

На мне осталась рубашка, чулки и башмаки.

— Все, все снимайте!

Стиснув зубы, покрытая липким потом, стояла я перед латышкой совершенно голая в то время, как она трясла мою одежду, выворачивала чулки. Невольно сжимались кулаки. Платком, в котором было завернуто что-то, принадлежавшее полковнице, я вытирала пот, струившийся по лицу.

— Это что? — вдруг взвизгнула латышка.

Из кармана пиджака вывалилась записка с адресом полковницы.

— И вам не стыдно? — не сдержалась я.

Как ошпаренная, крепко зажав носовой платок, вылетела я из Чеки и, не останавливаясь, несмотря на тяжелый чемодан, почти бежала до Кузнецкого моста. Здесь я зашла в какую-то подворотю, развернула платок: сверкнули драгоценности — кольцо, серьги . . .

— Что же теперь делать? — думала я, придя домой. — Адрес у меня отняли, хранить драгоценности у себя дома опасно, за нахождение их в то время расстреливали. В кольце было девять и в каждой серьге по семь довольно крупных бриллиантов, пересыпанных рубинами, изумрудами — вещи были аляповатые, безвкусные, но ценные.

На окне чахло растение. Я вытряхнула землю из горшка, завернула драгоценности в желтую компресную клеенку, положила их на дно и снова посадила цветок. «Когда полковницу выпустят, она найдет меня», — думала я.

Прошло два года. Глиняный горшок с засохшим растением стоял уже теперь в кухне на полке. Каждый раз, взглядывая на него, я вспоминала круглое, наивное лицо полковницы, ее грузную фигуру, сотрясающуюся от рыда- «Где она? Почему не идет за своими драгоценностями?».

Мысли о ней были неприятны, и я старалась их отогнать. Да и не до того было. Приходилось с бешеным отчаянием бороться за существование: добывать дрова, пищу, чтобы не погибнуть с голода. Против самого страшного врага мы были бессильны. Каждую минуту мы могли попасть в тюрьму по малейшему поводу или совсем без повода. Слухи, один страшнее другого, ползли по Москве.

— Отбирают оружие!

И все силы московских обитателей сосредотачивались на том, чтобы половчее избавиться от старого зазубренного кинжала, охотничьего ружья, финского ножа.

Мои знакомые ездили удить рыбу. Среди удилищ и сачков была ловко спрятана немецкая винтовка. Ночью они закопали ее в лесу где-то около Малаховки.

Сдавать оружие, как предлагали большевики, боялись. «Пойдут расспросы, откуда, да как оно к вам попало, — еще расстреляют!»

— Ищут золото, драгоценности, камни!

И снова тревога. Своих драгоценностей у меня не было. Несколько золотых, оставшихся от матери, я давно проела. Но за бриллианты полковницы я беспокоилась. Что я ей скажу, если чекисты отберут у меня ее сокровища?

ГЛАВА 11

«РАСПИШЕМСЯ!»

Говорят, что самый лучший способ научить человека плавать, это бросить его на глубоком месте в воду, а неумеющего кататься на коньках — вывести на середину катка и

оставить. Нечто подобное случилось со всеми нами после революции. Одни выплыли, другие утонули.

Люди, никогда в жизни не работавшие, научились готовить, стирать, мести улицы, торговать, ездить на буферах, на крышах вагонов. Даже воровать!

Транспорт был разрушен. Частная торговля запрещена. Правительство не снабжало население питанием, одеждой, топливом. Того, что давали по карточкам, было недостаточно.

— Кабы не мешочники, давно бы все с голоду померли! — говорили москвичи.

Но и мешочникам становилось все труднее и труднее провозить хлеб. Реквизиционные отряды отбирали, а люди, как звери голодны; все мысли, все силы сосредоточили на добыче топлива и пищи.

Обед у меня был каждый день, большей частью суп и пшённая каша, но трудно было доставать дрова. Иногда за миллионы, за миллиарды можно было купить охапку на базаре. Приходилось экономить каждую щепку. Кто-то советовал варить пищу в подушках. Я попробовала, у меня ничего не вышло. Затем в продаже появились ящики с двойными стенками, засыпанные стружками и обшитые внутри войлоком. Я купила себе такой ящик. Как закипит суп и каша, я ставила их в ящик и они на пару доходили.

— Ну как же могут суп и каша без огня вариться? — говорила помогавшая мне одно время молоденькая девушка. — Враки это.

Я ей объяснила, вскипятила суп, кашу и поставила в ящик. Когда я пришла домой, обед был сырой.

— Ведь я же вам говорила, Александра Львовна, что все это пустяки. Как может без огня вариться?

— Но ведь я каждый день обед варю в этом ящике.

— Ни за что не поверю! Я несколько раз глядела, щи и не думали кипеть.

Оказывается — она то и дело открывала ящик, смотрела и выпустила весь пар.

Надо было добывать дрова, чтобы топить «лилипутку» или «буржуйку», крошечную железную печку. Я варила на ней обед и она немного согревала комнату.

Кругом дров было много. Ломали деревянные дома, заборы; жители растаскивали доски, бревна. В нашем переулке ломали два дома, на Большой Никитской разбирали деревянный забор. Тащили и набивали дровами квартиры, ванные комнаты, кухни.

Ночь. Красноармеец похаживает взад и вперед около разрушенного дома, греясь у небольшого костра.

— Товарищ! Разрешите взять одно дерево?

— Проходите, проходите, гражданки!

— Нам немного, хоть одно бревно, топиться нечем, замерзли.

— Проходите, говорят вам, а то в милицию сведу.

— Ну, а меняться не хотите? Мы вам горячих картошек и табаку, а вы нам топлива. Целая кастрюля картошек горячих.

— Ну ладно. Только живо. Скоро смена.

Мы бежим в дом и возвращаемся с картошкой и табаком. Со мной барышня, работающая в музее, она живет в первом этаже этого же дома. Мы выбираем самое большое бревно. Гнутся плечи под страшной тяжестью. Бревно нельзя повернуть в лестничной клетке. Мы выставляем вторую раму в первом этаже квартиры и впихиваем его внутрь. Опять не влезает, торчит. Но нам думать об этом некогда. Мы снова бежим к развалинам. Красноармеец поужинал и с наслаждением раскуривает козью ножку.

— Товарищ! Можно взять еще полено?

Товарищ сыт и доволен.

— Ладно, берите, я не вижу.

И вот второе, такое же большое бревно торчит из окна. Мы перепиливаем их пополам и втаскиваем в дом. Недели на две хватит.

Иногда в темноте не поймешь, кто ходит около полуразрушенного забора. Может быть красноармейцы, а может быть и нет. Люди эти за мной следят и я прячу топор под кожаную куртку. Я наблюдаю за ними, они за мной. Проходит некоторое время. Наконец мне это надоедает и я прячусь за соседний дом.

Крак! Крак! Ломают забор.

— Верблюды! — восклицаю я радостно, и спешу рушить забор с другого конца. Они смеются, смеюсь и я. Сколько времени потеряли напрасно.

Силуэты людей, нагруженных дровами, действительно похожи на верблюдов.

Как быстро все пришло к разрушению. Телефоны, отопление, трамваи, даже электрические звонки в квартирах — ничего не действовало. Каким-то чудом у меня сохранился дамский велосипед. Не знаю, что бы я без него делала. Я ездила на нем по всей Москве, иногда я уезжала на целый день за город. Я возила на велосипеде продукты, дрова. И вдруг распространилось страшное известие: частные велосипеды реквизируются. А у барышни в нижнем этаже тоже велосипед, она получила его за швейную машинку. Что было делать? Спрятать велосипеды на квартире? Невозможно. Отправить куда-нибудь — реквизируют.

И вот в субботу, в теплый день, взяв за спины рюкзаки с несколькими жестянками консервов и зубными щетками, мы пустились в путь. Белой лентой вилось перед нами Киевское шоссе. Ветер дул в спину. Велосипеды летели, как птицы. В двое суток мы сделали 200 верст до Ясной Поляны, оставили там велосипеды и поездом вернулись обратно в Москву.

Никелированный чайник, будильник, кусок кружев, старые башмаки, бусы, платья. Я сижу на краю тротуара, а товар мой лежит прямо на мостовой. Смоленский рынок теперь место сборища старой аристократии. Слышится французская речь. Пыль, толкотня, как бы кто не утащил вещей.

— Сколько, гражданка, за бусы? Что? Пять лимонов? А один желаете?

— Кабы сменять на сало или на муку, — говорю я робко, — я бы дешевле . . .

— Мамочка, за чайник сколько просите?

Я спускаю цену наполовину и продаю.

Жара. Пыль забила все поры. Невольно слежу за проходящими, авось остановится кто-нибудь и купит! Наконец, продаю старое шелковое платье. Я связываю узел, покупаю тут же на рынке продовольствие и иду домой.

Толстовец финн часто приезжал из Петербурга и останавливался в правлении нашего товарищества.

Один раз, когда мы с ним обедали в столовой для образованных женщин на Никитском бульваре, он совершенно неожиданно спросил:

— Вы свободны после обеда?

— Да. А что?

— Пойдемте в Комиссариат!

— В какой Комиссариат?

— Ну, я не знаю, как он называется... Закс, кажется?

— Ничего не понимаю! Почему Закс?

— Да пойдемте, распишемся! Я не могу видеть, как вы мучаетесь.

— Что вы хотите сказать?

— Ах, Боже мой! Ну, поженимся, что ли? Вы будете финской гражданкой, вас в любое время должны пустить за границу. Фнляндское консульство будет вас защищать, ну, а если вы хотите, в личной жизни нашей ничего не изменится.

Я колебалась. Соблазн был велик.

— Нет, спасибо вам, я думаю этого не надо делать. Представьте себе, что вы в кого-нибудь влюбитесь и захотите по настоящему жениться?

Он старался меня уговорить, но я стояла на своем.

Странное было время!

ГЛАВА 12

ВЕСНА

(Эта глава была написана в тюрьме — Лубянка 2)

Зимой и ранней весной никто не ходил по тротуарам — было слишком скользко. Под водосточными трубами, когда на солнце оттаивали ледяные сосульки и под вечер вода замерзала — был сплошной лед. В башмаках ноги разъезжались во все стороны. Было бы лучше в галошах с резиновыми подошвами, но они исчезли на рынке, как многое другое, и купить их было невозможно.

Люди шли по мостовой, таща за собой санки, или несли мешки, сумки, прозванные «авоськами» — авось что-нибудь

раздобудут — кусочек масла, конины, сухую воблу или селедку.

Особенно жалко было стариков. Почему-то я запомнила одну старушку. На ней было старое, протертое, черное барашковое пальто и такая же муфта — остатки прежнего величия. Она тащила маленькие санки, не замечая, как они раскатывались по льду, мотались во все стороны, подшибая прохожих.

Был март месяц. Я чувствовала себя так, как вероятно чувствует себя скотина, когда после долгой, холодной зимы истощился корм. Лохматые коровы исхудали, ослабели и с нетерпением ждут весны. Было ощущение противной пустоты в голове и желудке, внутри все дрожало от голода и слабости.

Небольшую краюшку хлеба, которая у меня оставалась до получки, надо было распределить на несколько дней.

— Как жалко, что мы не обрастаем шерстью, как животные. Я все время зябну, — говорила мне моя знакомая, княжна Мышецкая, — по крайней мере тепло было бы.

Их было две сестры и они жили вдвоем в одной комнате у моих друзей. «Осколки старого режима», как говорил один мой приятель. Высокие, прямые, прекрасно говорящие по-французски, которым они пересыпали русскую речь. Последние, как они уверяли, в роду Мышецких. Эти старушки вызывали жалость своей полной беспомощностью. Чтобы как-то согреться, они днем и ночью жгли керосиновую печку. Печка коптила. Седые волосы старушек почернели, почернели лица, руки, покрытые копотью.

Всюду, куда ни пойдешь, темы разговоров были об арестах, о продовольствии, где что можно достать, о дровах, которые были так необходимы, чтобы не замерзнуть в нетопленных домах.

Тяжело было слушать разговоры об арестах, когда я както ранней весной в марте зашла в книгоиздательство «Задруга». Обыски, аресты, каждую почти ночь. Сегодня арестовали одного, завтра другого, возможно, что послезавтра арестуют меня... Гораздо интереснее было то, что в Задруге выдавались членам правления дрова.

Сухие, березовые дрова были аккуратно сложены во дворе! Какая красота! Какое богатство! У меня глаза разгорелись.

Писатели, профессора, ученые, сотрудники Задруги уже разбирали дрова, укладывая их на санки. Спешили увозить дрова, пока еще оставался снег на мостовой.

Со мной были только маленькие санки. Восьмушку дров, которые мне полагались, я не могла поднять.

— Пожалуйста, — попросила я сторожа, — отложите мои дрова в сторону, я за ними приду.

— Куда я их сложу? Видите, весь двор завален? . .

Делать было нечего. Я попросила нашу молодую машинистку из Толстовского Товарищества помочь. Мы взяли двое саней, погрузили дрова, увязали их и повезли. Мягкий, смешанный с навозом снег месился под полозьями. Местами полозья скрипели по оголенным булыжникам. Я тащила свои сани с трудом. Усиленно билось сердце, подкашивались ноги. Тошнило. Когда я вспоминала о нескольких лепешках на какаовом масле, которые надо было растянуть на несколько дней, — тошнота усиливалась.

Мы двигались медленно, то и дело останавливались, чтобы передохнуть. Так было жарко, что я растегнула свою кожаную куртку. Пот валил с меня градом, застилая глаза.

— Будь она проклята, эта жизнь!

Сил не было. Хотелось сесть прямо в этот грязный снег и горько заплакать, как в детстве.

На Никитской улице, по которой мы поднимались, играли дети. Им было весело. Они кричали, смеялись, перебрасывались снежками. Маленький, толстенький, краснощекий мальчуган рученками в зеленых варешках ухватился за мои санки.

— Пусти! — закричала я сердито. — Тяжело и без тебя!

Но он не отпускал веревки и, крепко ухватившись за нее, пошел рядом со мной. Остальные дети побежали за ним.

Маленькая девочка в грязном белом капоре подбежала к нам.

— Мы вам помозем! — и, повернувшись к другим детям, возмущенно закричала. — Ну, чего же вы стоите?

Дети с минуту колебались, а затем всей гурьбой бросились к санкам.

— Ну, давайте все вместе!

И вдруг санки покатились: дети толкали сзади, с боков, тянули за веревки. Веревка, несколько секунд назад резавшая мне плечи, ослабела. Пришлось ускорить шаг, я уже почти бежала.

— Стойте, стойте! — кричу.

На перекрестке санки подкатились к большой луже.

— Остоложней, остоложней ! — кричала девочка в белом капоре. Щечки у нее разогорелись. Глаза сверкали из-под белого капора. Она чувствовала себя во главе всей этой детворы. Но дети ее уже не слышали. Они были слишком увлечены.

— Мы не лазбилаем, — кричали зеленые рукавички, — тяни! . . Раз! . .

Веревка на моих плечах совсем ослабела, санки дернулись и ударились о край водомоины. Плеск — и весь наш драгоценный груз оказался в воде.

Дети окружили санки. На несколько минут наступило молчание.

— Вот тебе и раз! — воскликнула разводя руками, совсем как взрослая, девочка в белом капоре.

— Чего стоите, только время тратите! — крикнул мальчик, который казался старше других. — Раз, два, три!

— Мишка! Чёрт! Ногу мне отдавил!

— Не беда! До свадьбы заживет!

Не успела я ухватиться за край санок, как послышался второй всплеск и санки стали на место. Еще общее усилие и мы вытащили санки из воды. Вторые санки перевезли через лужу с большой осторожностью.

— Дети! — сказала я. — Спасибо вам, идите теперь домой, а то заблудитесь.

— Вот еще что выдумали, — презрительно фыркнул белый капор, ухватив крошечными ручонками грубую веревку и зашагав рядом со мной, — что выдумали! Я одна каждый день в детский сад хожу!

— А я один в лавку хожу!

— А я к тетке, я знаю, где она живет!

— Мы вам дрова до места довезем, — сказал старший мальчик.

— И разгрузим, — добавил мальчик в зеленых рукавичках.

— Конечно, разгрузим, — поспешно подтвердил белый капор.

И они, играя, вывезли санки в гору до самых Никитинских Ворот и не хотели уходить домой, пока дрова не были разгружены и убраны в сарай. А когда они кончили, они сидя на дровах с громадным аппетитом поедали мои лепешки на какаовом масле. Я смотрела на них и давно неиспытанное чувство радости наполняло мою душу. Я была счастлива, я чувствовала весну.

ГЛАВА 13

ТЮРЬМА

В конце марта 1920 года я возвращалась в Москву из Ясной Поляны в скотском вагоне. Я простояла около суток в страшной давке. Ноги болели, плечи резало от тяжелого мешка с мукой, белье липло к грязному телу, и по мне ползали вши, горели глаза и хотелось спать. Я предвкушала ванну, сон и, казалось, сил хватит ровно настолько, чтобы втащить вещи во второй этаж.

Теперь часто приходилось испытывать это чувство. Думаешь: вот-вот упадешь, силы иссякли, но напрягаешь волю, еще немного, и оказывалось, что силы есть. Нет предела терпению — все можно вынести, ко всему привыкнуть!

На дверях квартиры была печать ВЧК.

Что это могло значить?

Я свалила вещи и пошла к соседям звонить по телефону: «Кремль! Секретаря ВЦИК! Говорит комиссар Ясной Поляны!»

Я знала секретаря ВЦИК'а Енукидзе лично и начала с возмущением говорить ему, что я только что приехала из Ясной Поляны, устала и прошу его распорядиться, чтобы ВЧК немедленно сделала у меня обыск и распечатала бы квартиру.

Политикой я не занималась, ничего запрещенного у меня не было, и я была уверена, что это ошибка.

— Подождите, сейчас наведу справки и позвоню!

Он вызвал меня минут через пятнадцать:

— Сотрудники ВЧК сейчас у вас будут.

— Да? Но почему же все-таки запечатана квартира? В чем дело?

— Не знаю. Говорят, что имеют на это серьезные основания.

Меня поразила сухость в тоне любезного грузина. Я села на чемодан у дверей квартиры и стала ждать.

Чекисты приехали минут через двадцать: двое в военной форме, а третий тщедушный молодой человек, в бархатной куртке, с бледным лицом, томными глазами и каштановыми, вьющимися по плечам длинными волосами. Было что-то нездоровое, ненормальное в облике этого человека . . .

— Вы . . .

— С ними, — кивнул он головой на военных, — художник-футурист.

— И . . . чекист?

— Да, и сотрудник ЧК.

— Пожалуйста, делайте поскорей обыск, — сказала я, отпирая все шифоньерки, письменный стол, комоды, шкафы, — ищите!

Они искали долго, но ничего не нашли.

— Собирайте вещи!

— Зачем?

— Вы арестованы.

— Арестована?! За что? Ведь вы же ничего не нашли!

— Есть ордер на ваш арест.

— Не может быть! — воскликнула я. — За что меня арестовывать! Я комиссар Ясной Поляны! Я не принимала участия в политике! Это недоразумение!

— Потрудитесь собирать вещи!

— Ни за что! Это нелепость какая-то. Никуда я не поеду. Справьтесь! Это ошибка!

Чекисты заколебались и, оставив меня под присмотром художника-футуриста, пошли говорить с начальством по телефону.

— Вас приказано немедленно арестовать, — сказали они, вернувшись.

— Но у меня на руках казенные деньги, отчеты, документы. Я должна их сдать, привести все в порядок. Дайте мне три часа, раньше я не поеду.

Снова чекисты ушли разговаривать с начальством.

— Делайте, что вам нужно, только скорее!

Мои друзья и племянница, пришедшие меня встретить, развели самовар. Художник-футурист с наслаждением уплетал мои яснополянские припасы: мед, белый хлеб, масло, варенье.

Прошло около двух часов. Я приняла ванну, надела чистое белье, собрала вещи, сдала бумаги и деньги племяннице, напилась чаю.

Было уже девять, когда меня привезли на Лубянку 2 и ввели в комендатуру. Мелькала передо мной громадная фигура рыжего коменданта Попова. Я сидела на стуле и клевала носом. В первом часу ночи допросили и я узнала, за что арестована.

Больше года тому назад друзья просили меня предоставить им квартиру Толстовского Товарищества для совещаний, что я охотно сделала. Я знала, что совещания эти были политического характера, но не знала, что у меня на квартире собиралась головка «Тактического Центра».

Я не принимала участия в совещаниях. Раза два ставила самовар и поила их чаем. Иногда меня вызывали по телефону и, когда я входила в комнату, все замолкали. Об этих собраниях я давно забыла, но теперь, узнав, за что арестована, поняла, что мое дело серьезно.

Меня привели в камеру около двух часов ночи. Мучила жажда.

— Товарищ! дайте воды, пожалуйста, — попросила я надзирателя.

— Не полагается.

Дверь захлопнулась, щелкнул замок. Камера маленькая, узкая. Я едва успела постелить постель, как электричество погасло.

Когда я была моложе, у меня было счастливое свойство. После несчастий, сильных волнений, наступала реакция и я могла заснуть немедленно, лежа, сидя, а когда была на войне, ухитрялась спать даже верхом на лошади. Накануне я

совсем не спала, глаза слипались. Я легла на койку, закрыла глаза, но тотчас же вскочила: в батареях что-то зашуршало. Я замерла. Шорох повторился, зашуршало по стене и мягко шлепнулось на пол, один раз, другой, третий . . . «Крысы!» Я постучала о край койки. Шум прекратился, но через несколько секунд возобновился, послышался топот. Животные пищали, догоняли друг друга, казалось вся камера была полна крысами.

«Только бы на койку не влезли», — подумала я, и в ту же минуту почувствовала, как крыса карабкается по пледу. Я в ужасе дернула конец, животное оборвалось и шлепнулось на пол. Я подоткнула плед так, чтобы он не висел, но крысы карабкались по стене, по ножкам табуретки, бегали по подоконнику. Я нащупала табуретку, схватила ее и вне себя от ужаса махала ею в темноте.

— Что за шум, гражданка? В карцер захотели? — крикнул в волчок надзиратель.

— Зажгите огонь, пожалуйста! Камера полна крыс!

— Не полагается! — он захлопнул волчок. Я слышала, как шаги его удалялись по коридору.

Опять на секунду все затихло. Мучительно хотелось спать. Но не успела я сомкнуть глаза, как снова ожила камера. Крысы лезли со всех сторон, не стесняясь моим присутствием, наглея все больше и больше. Они были здесь хозяевами.

В ужасе, не помня себя, я бросилась к двери, сотрясая ее в припадке безумия и вдруг ясно представила себе, что заперта, заперта одна, в темноте с этими чудовищами. Волосы зашевелились на голове. Я вскочила на койку, встала на колени и стала биться головой об стену.

Удары были бесшумные, глухие. Но в самом движении было что-то успокоительное, и крысы не лезли на койку. И вдруг, может быть потому, что я стояла на коленях, на кровати, как в далеком детстве, помимо воли стали выговариваться знакомые, чудесные слова. «Отче наш», и я стукнулась головой об стену, «иже еси на небесех», опять удар, «да святится . . .» и когда кончила, начала снова.

Крысы дрались, бесчинствовали, нахальничали . . . Я не обращала на них внимания: «И остави нам долги наши . . .» Вероятно, я как-то заснула.

Просыпаясь, я с силой отшвырнула с груди что-то мягкое. Крыса ударилась об пол и побежала. Сквозь решетки матового окна чуть пробивался голубовато-серый свет наступающего утра.

Утром повели в уборную. Только начала мыться — стучат.

— Гражданка! Кончайте! Уступайте место другим!

Делать нечего. У меня был с собой эмалированный тазик. Наполнила его водой и решила окончить умывание в камере.

Полутьма, ни книг, ни бумаги, ни карандаша нет. Отняли. Делать нечего. За стеной скребутся крысы. Днем я их не боюсь, но с ужасом думаю о ночи.

— Собирайте вещи, — и на мой вопросительный взгляд, — переводят в общую.

В одной руке понесла вещи, в другой таз с водой, боясь расплескать.

Надзиратель отпер угловую камеру, в конце коридора. За столом сидела компания женщин. Увидели меня с тазом — и рассмеялись.

— Вы — Толстая? — спросила меня одна из них, постарше, с маленькими острыми глазами и нервным, чуть дергающимся лицом.

— Да.

Странно, почему она знает?

— А мы вот карты делаем из папиросных коробок, — сказала она мне, — вот тут устраивайтесь, — и указала мне пустую койку у дверей.

Комната была длинная и неправильная, суживающаяся в конце. С двух сторон по окну с решетками и матовыми стеклами. Койки стояли почти вплотную по стенам. Слева у окна тяжелый ломберный стол, два стула, вот и все.

— Я доктор медицины, Петровская, — сказала мне пожилая женщина.

— По Петербургскому делу, — сейчас же добавила она, — Юденича ждали . . .

— Madame parle français, n'est ce pas? — обратилась ко мне соседка по койке. И по великолепному произношению, по

тонкому гриму на лице и особому шику в одежде, свойственному только парижанкам и не утерянному даже здесь, я сразу определила ее национальность.

— Oh! Mademeiselle la princesse parle aussi, — кивнула она на высокую девушку лет восемнадцати с тонким аристократическим лицом.

— Ее арестовали в связи с делом брата, — кивнула на княжну белокурая, красивая женщина лет под тридцать.

— А зачем у вас таз с водой? — спросила девица с большими томными глазами. — Очень это смешно!

— Мыться. А крысы у вас есть?

— Есть, но немного.

Мне хотелось спать. И я стала стелить постель. Койка — три сбитые неотесанные тесины. Между каждой тесиной три, четыре пальца. Жидко набитый стружками тюфяк провалился в щели и тесины краями врезывались в тело. Я подложила под бок сумочку, под голову пальто, закрылась пледом и заснула, как убитая.

Проснулась я только на следующее утро.

— Будет вам курить, доктор! Всю камеру прокурили, дышать нечем! — ворчала белокурая, флегматичная девица, по профессии машинистка, лениво ворочаясь на кровати. — И что вы ходите взад и вперед, как маятник!

— Не сердитесь, голубушка! Сил нет! Места себе не найду!

— Господи! И чего волоноваться. Этим не поможешь. Ведь вот не волнуюсь же я.

— Вам-то чего волноваться? Ведь вы же в деле не участвовали?

Машинистка промолчала.

— Ах, да разве я за себя! У меня сын, дочь, муж! Моя жизнь кончена. Вы представьте себе только, можно ли быть спокойной, когда их всех могут расстрелять из-за меня, всех, всех!

— Да ведь вы говорите, что сына вашего помиловали . . .

— Боже мой! Да разве можно кому-нибудь верить! Сегодня помиловали, а завтра расстреляют, — и докторша хваталась дрожащими руками за книжечку, отрывала листочек папиросной бумаги, крутила папиросу и снова нервно закуривала.

— Знаете, — вступила француженка, — вы когда следователь говорит, немножко с ним coquette, немножко руж, немножко blanc, я смеюсь, он смеюсь . . .

— А вы смеялись, помните, когда вас ночью с вещами потребовали?

— Oh! Mon Dieu — ниет, не смеял, я плакайть, плакайть. Я думал, меня стрелять!

— Да, жуткое было время, — начала Петровская, — то и дело на расстрел выводили. Пришли за ней ночью, велят собирать вещи. С ней истерика — плачет, хохочет. Вдруг упала на колени: «Доктор, — кричит, — молитесь на моя грешная душа». Я с ней с ума было сошла. А утром привели.

— Куда же водили?

— На допрос.

— Нарочно пугают, — сказала девица с томными глазами, — своего рода пытка. Запугивают, думают, что человек больше расскажет.

— Oh! Ma pauvre mère, mon pauvre Henri! Ils ne sauront jamais ce que j'ai souffert.

— Жених у нее во Франции, — продолжала докторша, — а обвиняют ее в шпионстве. Сошлась с каким-то негодяем . . .

— Mais non, docteur! Меня принимайт за шпион, ce monsieur меня спасайт. Я его не любил, ce monsieur, oh, non! Henri comprendra ça! Я пошел с ним только по благодарству.

— Не поймешь их. Слушаю их разговоры целый месяц. А кто за что арестован, ничего не могу понять, — и машинистка поправила на своей кровати подушки, укладываясь поудобнее.

— Ах, я вам все расскажу, — нервно подергиваясь и покашливая, таинственно зашептала докторша, нагибаясь и обдавая меня табачным перегаром, — подходил Юденич. В Петербурге во главе организации стоял англичанин, красавец собой, смелый . . . Я была готова пожертвовать жизнью . . .

Докторша говорила быстро, почти не останавливаясь, говорила, как заученный урок, как будто она много раз повторяла свою историю.

Хотелось, чтобы она замолчала, было чувство брезгливости, почти физического отвращения к женщине, к ее любви к англичанину.

— Пасынка приговорили к расстрелу, сына может быть помилуют. Дочь в тюрьме.

— И они участвовали в заговоре?

— Да, да, и я, я одна виновата . . . Боже мой, Боже мой . . . — докторша истерически рыдала.

Я не находила слов утешения и мне было с ней неловко. А она все говорила, говорила . . .

По утрам я ввела гимнастику по Мюллеру. Открыв форточку поскольку позволяли железные решетки, мы раздевались почти до нага, становились в ряд и делали всевозможные движения руками, ногами и туловищем.

Я сказала, что гимнастика помогает сохранять молодость и красоту. Француженка, раскрашенная, в папильотках, старалась больше всех: „Un, deux, trois! Un, deux, trois!" приговаривала она, махая руками. Слабые мускулы ее не привыкли к усилию. Каждый раз, когда надо было медленно опускаться на корточки, она падала навзничь и не могла встать. Поднимался такой смех, что вмешивался надзиратель.

— Тише, дьяволы, что у вас тут такое?!

Доктор Петровская в одной денной рубашке, с замотанной вокруг головы фальшивой косой, желтая, тощая, вызывала чувство брезгливой жалости. И никто не смеялся, когда она, как и француженка, садилась на пол, вместо того, чтобы подниматься с корточек . . .

Один раз кто-то обратил внимание на отопительные трубы, проходящие в соседнюю камеру. Я села на пол и стала расковыривать известку железной шпилькой. Щель была замазана плохо и известка легко осыпалась.

— Станьте у двери, караульте надзирателя, — шепнула я товаркам.

Доктор Петровская быстро вскочила и заняла наблюдательный пост.

— Щепочкой, щепочкой, — шептала она, — от коробки отломайте.

И вдруг я услыхала с той стороны шорох, точно мыши скреблись. Я попробовала пропихнуть щепочку, почувство-

вала, что ее вытягивают. Она вся ушла и через минуту снова показалась с привязанной к ней записочкой: «Кто у вас в камере? У нас сидят такие-то и такие-то». Записка была подписана пятью, один из них был знакомый, заседавший у меня в квартире.

Мы ответили. Завязалась переписка. Мне было важно узнать, как вести себя на допросах. «Скрывать что-либо бесполезно, ВЧК все известно», — был ответ.

Наивно просовывая щепочку в соседнюю камеру, мы и не подозревали, что вся эта переписка была спровоцирована, что доктор Петровская — наседка, передающая из камеры следователям ЧК все наши разговоры. Недаром ее так часто вызывали на допросы. Говорили, что своей шпионской деятельностью она купила жизнь своего сына. В соседней же камере сидел другой предатель — Виноградский, предавший друзей детства. Я также была арестована благодаря Виноградскому; из разговора моих друзей он узнал, что заседания Тактического Центра происходили у меня на квартире и тотчас же донес об этом следователю.

ГЛАВА 14

ЛАТЫШКА

Каждое утро около восьми часов быстро открывалась дверь, на секунду показывалась высокая, костлявая фигура с красным лицом, кудельками на лбу и около двери стукалось ведро с такой силой, что вода, налитая до половины, расплескивалась вокруг. Дверь с силой захлопывалась, а мы спорили о том, кому достанется мыть пол. Это было одно из самых больших развлечений.

Через полчаса дверь снова раскрывалась, опять показывалась молчаливая фигура, красная большая рука хватала ведро и снова исчезала.

Таким же резким движением она швыряла молча нам в камеру чайник с кипятком, обед, ужин. Если она и говорила с нами, то всегда отрывисто, грубо, не глядя на нас, точно считала для себя унизительным обращаться к нам.

Придет за ведром, а мы еще не кончили мыть пол.

— Ну! Скорее! — крикнет и сильно стукнет дверью.

Казалось, в ней ничего не было человеческого— деревянное лицо, деревянный голос, деревянные движения.

«Неужели эта машина может плакать, любить?» — думала я. И я смотрела на нее с ужасом, она возбуждала во мне страх, больший страх, чем самое заключение, тюремные решетки. Каждый раз, как она входила в камеру, я вздрагивала и сжималась. А у нее на лице самодовольство, сознание исполнененного долга, она со всей тупостью своей натуры поняла, что здесь, в ЧК, от нее требуют одного — потери человеческого образа, превращения в машину, и она в совершенстве этого достигла.

Мы пробовали с ней заговорить, она не только не отвечала нам, но и бровью не вела, точно наши слова были обращены не к ней.

«Неужели можно так дрессировать людей? — думала я. — А может быть она сама по себе такая» . . .

Правда, что все служащие чека были замечательно выдрессированы. Но они иногда разговаривали с нами, отвечали на вопросы, пересмеивались между собой, ругались, наконец. И, хоть и чувствовалась в них резкость и жестокость, но не было той холодности машины, которая была в латышке. Она казалась мне страшнее надзирателей, начальника тюрьмы, следователя . . .

Невольно мои мысли тянулись к ней, когда она входила, я не отрывала глаз, внимательно разглядывала ее плоское, грубое лицо с белыми бровями и ресницами, бесцветными, невидящими глазами.

— Здравствуйте, товарищ! — вдруг, неожиданно для самой себя, сказала я ей, когда она швырнула в камеру ведро.

Она удивленно вскинула на меня свои безжизненные белесые глаза и ничего не ответила.

С тех пор я упорно каждое утро с ней здоровалась, а она делала вид, что не слышит, и не отвечала. Один раз днем, когда она принесла обед, я предложила ей конфет, которые были в передаче.

— Нельзя! — отрезала она и резко захлопнула за собой дверь.

На следующий день, когда я как всегда поздоровалась с ней, она едва заметно кивнула мне головой.

— А все таки не приучите! — дразнили меня мои товарки по камере. — Эти латышки ужасно бесчувственные!

Но я думала иначе. Я радовалась. Желание вызвать в латышке проявление человеческого приобрело для меня огромное значение. Казалось, все мои чувства, мысли, воля, сосредоточились в этом желании. И чем труднее казалась задача, чем больше я затрачивала на нее сил, тем сильнее делалось желание.

— Здравствуйте! Ну, как погода сегодня? — обратилась я к ней, как к старой знакомой, с обычным приветом.

— Здравствуйте!

Это была уже настоящая победа и я ликовала.

Когда в следующую передачу я получила яблоки, я выбрала одно получше и протянула ей.

— Возьмите, товарищ, я ведь просто . . .

Она поколебалась, взяла и сунула под фартук. Но лицо продолжало быть деревянным; она также, как машина, входила, приносила, уносила, не глядя, не отвечая на вопросы. Иногда я отчаивалась. Казалось, что она вся насквозь деревянная и душа у нее деревянная.

23 апреля были мои именины. Двое надзирателей, улыбаясь, притащили в камеру огромную передачу от друзей. Было много, много цветов, так много, что мы обвили решетку цветами и у нас был праздник в камере.

Когда вошла латышка, я протянула ей букет цветов.

Она удивленно пожала плечами.

— Возьмите, сегодня мой праздник!

Она молча взяла, а, когда принесла обед, на груди у нее был заткнут мой букетик подснежников.

Это случилось совершенно неожиданно. Утром, проснувшись, я по обыкновению взглянула через щелку форточки на небо. И, увидав голубой клочек неба, вдруг почувствовала солнце, тепло, весну . . . и стало грустно. Когда вошла латышка, я, забыв про все свои опыты, спросила ее, как спросила бы всякого человека, который свободно может смотреть на солнце и небо:

— Хорошо сегодня на улице?

— Тепло, весна! — ответила она мягко.

В одиннадцать часов, в самое неурочное время, неожиданно раскрылась дверь и, широко улыбаясь своим плоским лицом, в камере появилась латышка.

— Гражданка Толстая, это вам! — сказала она, конфузясь.

Ко мне на колени упала большая ветка цветущей черемухи.

ГЛАВА 15

СКРИПАЧ

Пасха — и мне особенно грустно. Все в камере получили передачи, кроме меня. Почему никто обо мне не вспомнил? Может быть арестованы? Больны? Или просто забыли?

Я даже не знаю, почему мне так грустно. Пасха для меня обычай, связанный с далеким прошлым. И вот сейчас, здесь в тюрьме хочется именно той другой далекой Пасхи. Чтобы был накрыт стол в столовой Хамовнического дома, накрахмаленная скатерть, такая белоснежная, что страшно к ней притронуться; чтобы на столе стояли высокие бабы, куличи и пасхи и огромный окорок, украшенный надрезанной бумагой. Шурша шелками, из спальни выходит мать, нарядная в светлосером или белом шелковом платье. В настежь раскрытые окна из сада врывается чистый весенний воздух, пропитанный запахом земли, слышится непрерывный звон переливчатых колоколов. Грустно. Звона уже нет. Москва в ужасе замерла. Все запуганные, голодные, несчастные, а я сижу в тюрьме. Камера похожа на длинный мрачный гроб. На столе на газете лежат три красных, с растекшейся краской яйца и темный маленький кулич с бумажным пунцовым цветком. Лучше бы их не было, они еще больше напоминают о нищете . . .

Я бросилась на кровать, лицом к стене. Хотелось плакать. Было тихо. Должно быть моим товаркам тоже было тоскливо. Они не болтали, как всегда.

И вдруг могучие звуки прорезали тишину. Все шесть женщин бросились к дверям и, приложив уши к щелке, стали слушать. Некоторые из нас упали на колени. Мы слуша-

ли молча, боясь пошевельнуться, боясь громким дыханием нарушить очарование.

Глубокие, неземные звуки прорезали тишину. Они проникали всюду, сквозь каменные, толстые стены, сквозь потолок, они прорывались наружу через крышу тюрьмы, тянулись к небу, утопали в бесконечном пространстве. Они были свободны, могучи, они одни царствовали надо всем.

Кто-то играл на скрипке траурный марш Шопена. Один раз, другой. Затем звуки замерли, снова наступила тишина.

Слезы были у нас на глазах. Мы не смотрели друг на друга, не говорили.

Повидимому большой мастер играл траурный марш Шопена. Да. Но почему меня это так потрясло? Как-будто звуки эти вырывались за пределы тюрьмы, за железные решетки и стены; ничто не могло удержать их полета в бесконечность... Бесконечность... Вот оно что... Вот о чем пела скрипка. Она пела о свободе, о могуществе, о красоте бессмертной души, не знающей преград, заключения, конца. Я плакала теперь от радости. Я была счастлива. Я знала, что я свободна...

Много позже я встретилась на свободе с машинисткой. Мы разговорились о тюрьме.

— А помните Пасху? — спросила она. — Скрипача?

— Еще бы. Я не могла этого забыть.

— Он большой артист, мне говорили о нем. И знаете, ему позволили играть только один раз, это именно было тогда, когда мы его слышали. На следующий день его расстреляли.

ГЛАВА 16

ЛУБЯНКА № 2

Надзирательница-латышка сказала, что нас поведут в баню на Цветной бульвар. Я сообщила это на волю друзьям.

Нас повели четверо вооруженных красноармейцев и надзиратель. Важные преступники! Гнали по мостовой вниз по Кузнецкому, извозчики давали дорогу. Прохожие из интеллигентов смотрели с сочувствием, иные попроще — со злобой.

— Спекулянты! Сволочь! — некоторые, взглянув на раскрашенное лицо француженки и приняв нас за проституток, роняли еще более скверные слова.

Я не чувствовала стыда, унижения. Наоборот — нечто похожее на гордость Разве сейчас тюрьма удел преступников?

Несмотря на городскую пыль — хорошо дышалось. Мы не подозревали, что такая ранняя весна. На Цветном бульваре трава высокая и густая, листья на деревьях большие и темные, как бывает в начале лета. Жарко, но в тени хорошо и приятно идти по земле.

— Стойте, стойте! — вдруг услыхали мы бодрый голос. — Политические? — низенький приземистый человек на ходу соскочил с извозчика и бросился через улицу к нам. — Я сам только что из тюрьмы, тоже политический. Не унывайте, товарищи! Вот огурчиков вам свеженьких! — он протягивал нам пакет.

— Отойдите, товарищ! Нельзя разговаривать с арестантами.

— А огурчики, огурчики передать можно?

— Нельзя, проходите.

— А все-таки не унывайте, товарищи, — еще раз с силой крикнул маленький человек, — я сам только что из тюрьмы, знаю все . . .

— Спасибо на добром слове, спасибо! — кричали мы ему вслед.

Стало совсем весело, когда я увидела своих друзей; они сидели в самых естественных позах под деревом на траве и шили, точно они вышли подышать свежим воздухом из одного из домов на бульваре. Увидев нас, встали и пошли по боковой дорожке. Может быть я не сумела скрыть радость и волнение, а может быть Петровская передала следователю об этом свидании, но только надзиратель сейчас же их заметил и стал отгонять.

— Отходите дальше, гражданки, — кричал он, — а то арестую . . .

Одна из женщин была Прасковья Евгеньевна Мельгунова, она надеялась увидать своего мужа.

Баня была похожа на военный лагерь. Кругом все оцеплено красноармейцами. Сновали взад и вперед мотоциклет-

ки. Около входа распоряжался прямой и высокий, как жердь, наш рыжий комендант.

В бане было невыносимо душно, густой пеленой стоял пар, но горячей воды было вволю. Красные, распаренные мы бодро шагали по бульвару обратно в тюрьму. По боковой дорожке сопровождали нас две женщины и приветливо мне улыбались.

Вздрогнула тюрьма. Задрожали окна. Что это?

— Обстрел из тяжелых орудий... Боже мой, неужели бои, переворот?

Страшные удары не прекращались, сотрясались дома, звенели стекла, вылетая и разбиваясь о мостовую.

Мы бросились к щелке в трубе: — Что это? Бой?

Ответили неопределенно: может быть бои, а может быть взрывы. Удары были равномерные и частые, одни за за другим. Хотелось верить, что они несут избавление. «Тра, та, та. Тра, та, та!» Дрожало здание, звенели разбитые стекла. «Освободят, откроют все тюрьмы. А вдруг не успеют освободить? Убьют чекисты?»

Уложили вещи и ждали.

Казалось прошло много часов, взрывы стали тише, реже.

— Что это было? — спросили мы вечером у надзирателя.

— На Ходынке пороховые склады горели...

А через несколько дней — новая тревога.

— Как будто гарью пахнет? — доктор Петровская оторвалась от пасьянса и выглянула в окно. — Ничего не видно.

Княжна вскочила на подоконник, на решетки. Окно было чуть-чуть приоткрыто настолько, насколько допускали решетки. Пригнувшись к правой стороне, можно было видеть часть двора и левое крыло тюрьмы.

— Я вижу дым! Пожар, может быть!

Одна за другой мы лазили на решетки, стараясь понять, что происходит. С каждой минутой дым становился гуще и чернее. Горел третий этаж левого крыла. До нас доносились крики, топот бегущих по коридору ног.

— О, Боже мой! — простонала докторша. — Надо собирать вещи! Нас наверное возьмут, если загорится тюрьма, —

и она стала нервно сдергивать с койки постель и запихивать ее в корзину. — Скорей! Скорей! За нами сейчас придут!

Дым становился гуще. В камере стало серо и душно.

— Я не хочу сгореть живой! Ma foi, non! — кричала француженка, вытаскивая из-под койки чемодан и швыряя в него в полном беспорядке пудру, платья, косметику, грязное белье.

— Зачем торопиться? Все-равно они забудут про нас, — и красивая машинистка спокойно соскочила с решетки и не спеша стала укладываться.

— Нет, что вы говорите! Не могут они нас забыть!

— Где товарищи? Les camarades! — кричала француженка, бросаясь к дверям. — Sapristi! Allons donc! — она стала с силой трясти дверь, — oh, Mon Dieu! Товарищ, товарищ! Послушай!

Никого не было. Из камер стучали.

— Закройте окно! Мы задохнемся! — крикнула докторша.

Слышны были сигналы пожарных команд, рев автомобилей, крики. Весь этот шум, суета росли, преувеличивались в глазах заключенных, принимая ужасающие размеры. Естественная потребность действия в минуту опасности была пресечена. Мы были заперты. То и дело вскакивали на решетки, сообщая друг другу то, что было видно: бегущие пожарные в золотых касках, красноармейцы, работа пожарных машин.

Повидимому работали три части. Дым стал реже. Часть пожарных уехала. Я заняла наблюдательный пост на окне и не слыхала, как красноармеец мне что-то кричал со двора. Он снова закричал. Очнувшись, я увидела, направленное на меня дуло винтовки.

— Слезь с окна, сволочь! — орал он во все горло. — Застрелю!

Я соскочила и захлопнула окно.

Проснулась ночью. Загремело в соседней камере, точно тело упало. Прибежал надзиратель, засуетились, забегали,

подымали тяжелое, выносили. Мы вскочили и, прислушиваясь, старались понять, что делается за дверью.

Я не знала тогда, что в соседней камере умер от разрыва сердца Герасимов, когда-то давно живший у нас в доме в качестве репетитора моих братьев, товарищ министра народного просвещения при временном правительстве.

Принесли хлеб, а кипятка не было.

— Что же кипяток, — спросила докторша.

— Водопровод испорчен.

В камерах заволновались, застучали в двери, заговорили более громкими, чем обыкновенно, голосами. Но протестовать не смели.

В уборную свели, а умыться не дали.

— Ну, как это хлеб в сухомятку жевать, — волновалась машинистка, тыкая пальцем в сложенные двумя небольшими столбиками шесть порций сероватого с мякиной и овсом хлеба.

— Дадут еще, водопровод починят и кипяток принесут, — успокоительно заметила докторша. Она почему-то всегда все знала.

Но воды не дали, и в обед не было супа, а вместо него принесли шесть порций селедки.

— Вы бы хоть ведрами немного воды разнесли заключенным, — сказала я надзирателю.

Надзиратель фыркнул:

— Натаскаешься тут на вас . . .

— Ну и дьяволы, — возмущалась машинистка, — что делают. Все время не давали селедок, а сегодня, как нарочно, воды нет, так нате же вам . . .

— Я так любить селедка, — сказала француженка, — что буду кушайть.

Соблазн был велик. Мы все в ожидании кипятка наелись селедки. А воды все не было. Невыносимо мучила жажда, во рту пересохло.

Часа в три, в обычное время, пришел надзиратель.

— В уборную!

Кто не знает тюремной жизни, и представить себе не может, какое громадное значение имеют эти слова для заключенных.

Надзиратели водили в уборную три раза в день. Это надо было сделать так, чтобы заключенные из разных камер не встретились. Уборных было мало, а камеры переполнены, поэтому водили редко и на очень короткое время. Утром на нас шестерых полагалось пять минут. Уборная была маленькая, с одной ванной, душем и краном. Днем же водили в уборную, где не было ни крана, ни ванны и нельзя было даже помыть рук. Поэтому я всегда утром наполняла свой таз водой и в этой воде мыла руки, а на другое утро выносила таз в уборную. У нас выработалась привычка, при которой можно было использовать каждую минуту нашего пребывания в ванной. В пять минут мы ухитрялись не только вымыться, но иногда даже кое-что выстирать. Я делала так: намыливалась и тотчас же пускала на себя душ, пока душ поливал меня, я стирала. Все это занимало около двух минут времени. Трое мылись под душем, трое под краном. Вода была ледяная.

В уборную водили в семь или восемь часов утра. Пили чай в девять. К сожалению, желудок не подчинялся тюремным правилам. Начинался стук в дверь.

— Товарищ, пустите в уборную!

— Нельзя, у вас есть параша.

— Неудобно, параша без крышки, пустите, пожалуйста.

— А в карцер хотите? Говорят, нельзя.

И надзиратель уходил в другой конец коридора. Бывали случаи, что люди корчились по три-четыре часа, оставались без обеда. Но я не помню, чтобы кто-либо из нашей камеры хоть раз воспользовался парашей.

Сушили белье в камере на веревочке, а разглаживали руками. Я никогда не думала, что можно так хорошо расправлять белье. Хитрость состояла в том, чтобы расправить его перед самым моментом высыхания.

Когда в этот день раздался крик надзирателя: «в уборную!» мы обрадовались, мелькнула надежда, что достанем где-нибудь воды.

— Чайник надо захватить, — сказала докторша.

Надзиратель выпустил нас из камеры. У дверей стояли два красноармейца с ружьями.

— Кто это? Куда вы нас ведете?

Но надзиратель молча шел впереди, красноармейцы по обеим сторонам и никто не ответил.

«На допрос? На расстрел? Почему со стражей?» — мелькали в голове нелепые мысли.

Спустились до второй площадки. Тихо, едва передвигая ноги, по лестнице, навстречу нам поднимался белый, как лунь, священник в серой поношенной рясе, подпоясанной ремнем. Впереди и сзади шли два красноармейца с винтовками. Мы столкнулись на тесной площадке и поневоле остановились, давая друг другу дорогу.

Страдание, смирение, глубокое понимание было в голубых старческих устремленных на нас глазах. Он хотел сказать что-то, губы зашевелились, но слова замерли на устах и он низко нам поклонился. И мы все шестеро низко в пояс поклонились ему. Сгорбившись, охраняемый винтовками, старец побрел наверх.

Нас привели на грязный двор внутренней тюрьмы, Лубянки 2. Я ждала очереди около досчатой уборной и, подняв голову, смотрела на небо, его не видно было из нашей камеры.

— Аэзх! — вздохнул охранявший нас молоденький красноармеец. — Живо жалко!

— Кого?

— Старый поп-то, чего он им сделал?

Часа в четыре меня позвали на допрос. Мучила жажда.

В мягком кожаном кресле сидел самодовольный, упитанный следователь Агранов.

Это был уже мой второй допрос.

В первый раз Агранов достал папку бумаг, и указывая мне на нее, сказал:

— Я должен вас предупредить, гражданка Толстая, что ваши товарищи по процессу гораздо разумнее вас, они давно уже сообщили мне о вашем участии в деле. Видите, это показания Мельгунова, он подробно описывает все дело, не щадя, разумеется, и вас . . .

— А ведь это старые приемы, — перебила я его, — эти самые приемы употреблялись охранным отделением при допросе революционеров...

Агранов передернулся.

— Ваше дело, я хотел облегчить участь вашу и ваших друзей.

— Вы давно в партии, товарищ Агранов? — спросила я.

— Это не относится к делу, а что?

— Вас преследовало царское правительство?

— Рарумеется, но я не понимаю...

— А вы тогда выдавали своих близких для облегчения своей участи?

Он позвонил.

— Отвести гражданку в камеру. Увидим, что вы скажете через полгодика...

В этот раз я также отказалась ему отвечать. Нахмурилась и молчала.

— Что это, гражданка Толстая, вы как-будто утеряли свою прежнюю бодрость?

Меня взорвало.

— А вам известно, что в тюрьме нет ни капли воды, что заключенных кормили селедкой?

— Вот как? Неужели?

Но я поняла, что он об этом знает.

— Ведь это же пытка, ведь это...

— Стакан чаю, — крикнул Агранов, — не угодно ли курить? — любезно придвинул он мне прекрасные египетские папиросы.

— Я не стану отвечать. Неужели нельзя послать воды хоть в ведрах заключенным? — стоявший передо мной стакан чаю еще больше разжигал бессильную злобу.

— Не хотите отвечать? — любезная улыбка превратилась в несмешливую злую гримасу. — Я думаю, что если вы посидите у нас еще немного, то сделаетесь сговорчивее. Отвести гражданку в камеру, — крикнул он надзирателю.

Нам принесли кипяток только к вечеру.

Я просидела два месяца на Лубянке 2. После угрозы Агранова я не ждала скорого освобождения, и удивилась, когда надзиратель пришел за мной.

— Гражданка Толстая! На свободу!

Перед тем, как выйти из камеры я по всей стене громадными буквами написала: «Дух человеческий свободен! Его нельзя ограничить ничем: ни стенами, ни решетками!»

ГЛАВА 17

ПРОКУРОР

Меня выпустили до суда с другими второстепенными преступниками.

Странное было ощущение. Точно я долго плавала на корабле и вот, наконец, попала на сушу: поступь нетвердая, во всем существе нерешительность, трудно попасть в прежнюю колею повседневной жизни.

Предстоял суд и на нем сосредоточилось все внимание. Все остальное: работа над рукописями, Ясная Поляна — отошло на задний план.

Далеко от центра, в Георгиевском переулке помещалась канцелярия Верховного Трибунала. Должно быть она была здесь потому, что напротив был особняк комиссара юстиции Крыленко.

Здесь подсудимым разрешалось ознакомиться с делом, и мы узнали о доносах из камеры жалкой, изолгавшейся истерички Петровской, Виноградского, предавшего друзей детства, узнали о пространных, в подробности излагавших все дело «с исторической точки зрения» профессора Котляревского и других.

У меня не было желания разбираться во всей этой литературе. Быть может придет время, когда русские историки разработают события того времени не для ЧК, как это сделал проф. Котляревский, а для широкой русской общественности.

В центре внимания были пятеро наиболее серьезно замешанных в деле. Им грозил расстрел. И это было то, чем интересовалось теперь уцелевшее московское общество: расстреляют или нет? Ужас заключался не только в том, что убивались друзья, знакомые, уважаемые, любимые многими, молодые, полные жизни и энергии люди. Ужас был еще и в

том, что постепенно уничтожался целый класс, уничтожалась передовая русская интеллигенция. И эта угроза расстрела была угрозой по отношению ко всем нам.

Невольно вставал образ всеми любимого и уважаемого Николая Николаевича Щепкина, незадолго перед тем расстрелянного. Я знала его по Земскому Союзу, и относилась к нему с глубоким уважением и симпатией. Когда распространилось известие, что его расстреляют, оно не дошло до сознания, я не поняла, и долго не могла понять, поверить. И когда наконец дошло до сознания, померкло все вокруг, показалось, что нет больше радости на земле и духа Божия в человечестве, и что жить дальше невозможно. Но острота первого впечатления прошла. Я стала думать о том, как спасти Николая Николаевича. Хлопотать было бесполезно. Выкрасть? Это было безумием, но и время было безумное. Разве в России разум человеческий не тащился теперь бессильно в хвосте?

Было неприятно и немного жутко, когда пришел ко мне на квартиру подозрительный человек в ярко синей поддевке и картузе, с лихо закрученными кверху светлыми усами, умными, хитрыми глазами, тяжелым золотым перстнем на указательном пальце левой руки и серьгой в левом ухе. Сначала осторожно, затем смелее, увлекаясь своим планом, я заговариваю с ним о возможности похищения Николая Николаевича из тюрьмы.

Человек в синей поддевке обнадеживал, у него большие «связи». Надо много денег для подкупа. Я не возражаю. Разве мы не найдем денег в Москве для спасения Николая Николаевича.

Но через несколько дней подозрительный тип пришел сказать, что он отказывается; по наведенным справкам ничего сделать нельзя.

Николая Николаевича казнили. Первые дни я ждала ареста. Думала, что меня выдаст синяя поддевка, но он оказался честнее, чем я предполагала.

И вот теперь опять угроза смерти повисла над пятью всеми уважаемыми и любимыми людьми. Встречаясь, мы говорили только об этом. Было страшно глядеть в вопрошающие глаза близких: «Ну что? Как вы думаете? Помилуют или . . .»

Под усиленной охраной этих пятерых приводили знакомиться с делом в Георгиевском переулке. Никого не подпускали к ним близко и, когда уводили, жены долго смотрели им вслед.

А через улицу, в большом, великолепном барском особняке жил прокурор республики Крыленко. Мы видели, как небольшой, коренастый человек с хищной челюстью похаживал по двору, хлопая себя хлыстиком по сапогам. Слышно было, как властным, резким голосом он отдавал приказания служащим и сзывал многочисленных охотничьих собак. Крыленко был страстным охотником.

ГЛАВА 18

СУД

Среди публики много знакомых лиц. На передних скамьях подсудимые. Их много, человек тридцать. Они всем известны: профессора, ученые, врачи, литераторы.

Кроваво-красное сукно на столе, за которым заседают судьи. С левой стороны защитники, казенные и частные. Частные — адвокаты с крупными общественными именами, некоторые — бывшие революционеры, теперь враги народа. Они производят жалкое впечатление. Особенно один из них. Когда говорит, жестикулирует, подносит руки к лицу, точно умоляет. Судьи грубо его обрывают. Ораторские способности, знание, логика — здесь не нужны.

Казенные защитники — мелкие, бездарные людишки, в силе сейчас. Они знают необходимые приемы, держатся за панибрата с судьями, играют первенствующую роль.

За отдельным столиком сидит справа прокурор Крыленко с большим, почти голым черепом и с сильно развитой, хищной челюстью. Он напоминает злобную собаку, из тех, что по улицам водят в намордниках. Чувствуется, что жажду крови в этом человеке утолить невозможно, он жаждет еще и еще, требует новых жертв, новых расстрелов. Стеклянный голос его проникает в самые отдаленные уголки залы, и от этого резкого, крикливого голоса мороз дерет по коже.

Такой суд — не просто суд, а испытание. Смерть витала над головами людей. Положение было жуткое. Не было смысла отрицать виновность. Кое-кто из участников, профессора Сергиевский, Котляревский, Устинов, подробно рассказали обо всем в своих показаниях. Прямое отрицание виновности было бы глупо, но и страшно было попасть в другую крайность: начать каяться и просить прощения.

Временами даже Крыленко не мог скрыть своего презрения, когда некоторые отвечали на его вопросы заискивающе-робко, с явным подлаживанием, или предавали своих друзей.

Было очевидно, что этих не только оправдают, но, пожалуй, еще и повысят по службе.

Внимание мое было до такой степени сосредоточено на группе людей, которым грозил расстрел, что я совершенно забыла о том,что в числе других судили и меня. Я все еще была на свободе. Приходила в суд из дома, расхаживала среди публики, обменивалась впечатлениями со своими друзьями. Меня удивило, когда один из чекистов вдруг подошел ко мне и потребовал, чтобы я села на одну из первых скамей, вместе с подсудимыми, охраняемыми стражей. А вечером после заседания суда всех нас, преступников второго разряда, отправили в тюрьму на Лубянку 2.

Так как мы не знали, в какой именно день нас заключат под стражу, вещей ни у кого не было, только у Николая Михайловича Кишкина оказался мешок за спиной.

Нас поместили в большую грязную камеру со множеством деревянных, без матрасов, нар. Все были взволнованы, возбуждены, и разбившись на небольшие группы, оживленно разговаривали.

Николай Михайлович, раскрыв свой мешок, достал чай, сахар, черные сухари, заварил чай и стал всех угощать.

— Что это значит, Николай Михайлович? — спросила я его. — Почему вы знали, что нас сегодня арестуют?

— Эх, Александра Львовна, ну что же тут удивительного. Вы сколько раз были арестованы?

— Три.

— Ну вот видите. А я и счет потерял. Я уж который день этот мешок в суд за собой таскаю.

Стали пить чай. Принесли хлеба. В углу обрисовывалась скрючившаяся фигура представительного Виноградского. Никто не позвал его пить чай, никто не говорил с ним.

— Неудобно ведь это, — сказал Котляревский, — надо все-таки чаю предложить . . .

Все промолчали.

— Я предложу ему чаю.

Опять все промолчали. Профессор встал и пошел к Виноградскому.

Свет потух. Я вытянулась на голых досках, подложив под голову кулак и не успела закрыть глаза, как почувствовала жгучие укусы в тело. Доски кишели клопами. Справа и слева ворочались профессора.

— Чёрт знает, что такое! И думать нечего спать, — кряхтели ученые, ворочаясь с боку на бок, скрипя плохо сколоченными нарами.

Один только Николай Михайлович, постелив простыню, подушку с белоснежной наволочкой, посыпавшись персидским порошком, заснул как ни в чем не бывало.

В конце концов заснула и я, под оханье и аханье профессоров.

Проснулись утром помятые, измученные с зелеными лицами. Я с ужасом осмотрела свое белое платье; оно превратилось в грязную тряпку. Помывшись кое-как без мыла и причесавшись пятерней, мы снова, окруженные стражей, отправились в Политехнический музей.

Теперь уже мы были арестантами, ходить по зале свободно нельзя было и я только издали переглядывалась со своими друзьями.

Помилование или смерть? Вокруг этой мысли сосредоточилось все внимание, вытеснив остальные интересы. Суд казался нелепым представлением, вопросы защиты — бессмысленной, отжившей формальностью. Председатель суда грубо обрывает бывших знаменитостей, а они, чувствуя свою непригодность, теряются, робеют. К чему все это? Решение несомненно продиктовано сверху.

Вдруг все заволновались в зале, засуетились, задвигались, даже среди судей произошло какое-то едва заметное движение. Незаметно по зале рассыпалась толпа подозри-

тельных штатских, в дверях и проходах показались остроконечные шапки чекистов. И не спеша, уверенной, спокойной походкой вошел человек в пенснэ с взлохмаченными черными волосами, острой бородкой, оттопыренными, мясистыми ушами. Он стал спокойно и красиво говорить, как привычный оратор. Говорил он о молодом ученом, о том, что такие люди, как этот ученый, нужны Республике, что он столкнулся с его работой и был поражен ее ценностью. Говорил недолго и, когда смолк, так же спокойно вышел, а в зале, как после всякого выдающегося из обычных рамок события — на секунду все смолкло. Стала постепенно удаляться ворвавшаяся в залу охрана, рассеялись подозрительного вида штатские и суд пошел своим чередом.

Мне было непонятно, как непонятно сейчас, почему этому временно выброшенному на поверхность, обладавшему неограниченной властью человеку, под руководством которого были расстреляны тысячи, почему ему пришла фантазия заступиться за молодого ученого? Но после выступления Военкома, Льва Троцкого, стало ясно, что надежда на спасение четырех увеличилась.

Мне суждено было вызвать смех в публике и разозлить прокурора.

— Гражданка Толстая, каково было ваше участие в деле Тактического центра?

— Мое участие, — ответила я умышленно громко, — заключалось в том, что я ставила участникам Тактического Центра самовар . . .

— . . . и поили их чаем? — закончил Крыленко.

— Да, поила их чаем.

— Только в этом и выражалось ваше участие?

— Да, только в этом.

Этот диалог послужил поводом для упоминания меня в сочиненной Хирьяковым шутливой поэме о Тактическом Центре:

«Смиряйте свой гражданский жар
В стране, где смелую девицу
Сажают в тесную темницу
За то, что ставит самовар.
Пускай грозит мне сотня кар,
Не убоюсь я злой напасти,

Наперекор советской власти
Я свой поставлю самовар».

Приговорили четверых * к высшей мере наказания. Остальных приговорили на разные сроки, Виноградского и красноречивых профессоров скоро выпустили. Мне дали три года заключения в концентрационном лагере. Я не думала о наказании и была счастлива, что не попала в компанию людей, получивших свободу.

ГЛАВА 19

В КОНЦЕНТРАЦИОННОМ ЛАГЕРЕ **

Нас вывели во двор тюрьмы. Меня и красивую, с голубыми глазами и толстой косой, машинистку. Было душно, парило. Чего-то ждали. Несколько групп, окруженные конвойными, выходили во двор. Это были заключенные, приговоренные в другие лагеря по одному с нами делу. Перебросились словами, простились.

Нас погнали двое конвойных, вооруженных с головы до ног — меня и машинистку.

Тяжелый мешок давил плечи. Идти по мостовой больно, до кровавых мозолей сбили себе ноги. Духота становилась все более и более нестерпимой. А надо было идти на другой конец города, к Крутицким казармам.

— Товарищи, — обратилась к красноармейцам красивая машинистка, — разрешите идти по тротуару, ногам больно!

— Не полагается.

Тучи сгущались, темнело небо. Мы шли медленно, хотя «товарищи» и подгоняли нас. Дышать становилось все труднее и труднее. Закапал дождь, сначала нерешительно, редкими, крупными каплями; небо разрезала молния, загрохотал, отдаваясь эхом, гром, и вдруг полился частый, крупный дождь, разрежая воздух, омывая пыль с мостовых. По ули-

* ВЦИК однако ввиду «победы над поляками» заменил смертную казнь десятью годами тюремного заключения.

** Записано в лагере.

це текли ручьи, бежали прохожие, торопясь уйти от дождя, стало оживленно и почти весело.

— Эй, постойте-ка вы! — обратился к нам красноармеец. — Вот здесь маленько обождем, — и он указал под ворота большого каменного дома.

Я достала портсигар, протянула его конвойным.

— Покурим!

Улыбнулись и, показалось, что сбежала с лица искусственная, злобная, точно по распоряжению начальства присвоенная, маска.

Я разулась, под водосточной трубой обмыла вспухшие ноги и стало еще веселее. Дождь прошел. Несмело, сквозь уходящую, иссиня-черную тучу проглядывало солнце, блестели мостовые, тротуары, крыши домов.

— Эй, гражданки! идите по плитувару, что ли! — крикнул красноармеец. — Ишь, ноги-то как нажгли!

Теперь уже легче было идти босиком по гладким, непросохшим еще тротуарам.

— Надолго это вас? — спросил красноармеец.

— На три года.

— Э-э-э-эх! — вздохнул он сочувственно. — Пропала ваша молодость.

Я взглянула на машинистку. Она еще молодая, лет двадцати пяти. Мне тридцать восемь, три года просижу, сорок один, — много . . .

Заныло в груди. Лучше не думать . . .

Подошли наконец к высоким старинным стенам Новоспасского монастыря, превращенного теперь в тюрьму. У тяжелых деревянных ворот дежурили двое часовых.

— Получайте! — крикнули конвойные. — Привели двух.

Часовой лениво поднялся со скамеечки, загремел ключами зарычал запор в громадном, как бывают на амбарах, замке; нас впустили и снова медленно и плавно закрылись за нами ворота. Мы в заключении.

Кладбище. Старые, облезлые памятники, белые уютные стены низких монастырских домов, тенистые деревья с обмытыми блестящими листьями, горьковато-сладкий запах тополя. Странно. Как-будто я здесь была когда-то? Нет, место незнакомое, но ощущение торжественного покоя, уюта

тоже, как бывает только в монастырях. Вспомнилось, как в далеком детстве я ездила с матерью к Троице-Сергию.

— Шкура подзаборная, мать твою . . .

Из-за угла растрепанные, потные, с перекошенными злобой лицами выскочили две женщины. Более пожилая, вцепившись в волосы молодой, сзади старалась прижать ей руки. Молодая, не переставая изрыгать отвратительные ругательства, мотая головой, точно огрызаясь, изо всех сил и руками и зубами старалась отбиться.

С крыльца, чуть не сбив нас с ног, выскочил надзиратель

— Разойдись, сволочь! — крикнул он, подбегая к женщинам и хватая старшую за ворот.

Поправляя косынки и переругиваясь, женщины пошли прочь.

Мы вошли в контору. Дрожали колени не то от усталости, не то под впечатлением только что виденного.

С ними, вот с «такими», придется сидеть мне три года!

Стриженная, с курчавыми черными волосами, красивая девушка, еврейка, что-то писала за столом. Женщина средних лет, в холщевой рубахе навыпуск, в посконной синей юбке и самодельных туфлях на босу ногу, встала из-за другого стола и с приветливой улыбкой подошла к нам.

— Пожалуйста, сюда, — сказала она, — мне нужно вас зарегистрировать. Ваша фамилия, возраст, прежнее звание? — задавала она обычные вопросы. — Ваша фамилия Толстая? — переспросила она. — Имя, отчество?

— Александра Львовна.

Что-то промелькнуло у нее в лице, не то удивление, не то радость.

Закурив папиросу и небрежно раскачиваясь, еврейка вышла на крыльцо и сейчас же лицо пожилой женщины преобразилось. Она схватила мою руку и крепко сжала ее.

— Дочь Льва Николаевича Толстого? Да? — поспешно спросила она меня.

— Да.

Мне было не до нее. Только что виденная мною сцена не выходила из головы.

— Большая часть арестованных уголовные? — спросила я ее. — Какой ужас!

— Голубушка, Александра Львовна, ничего, ничего, право ничего! Везде жить можно и здесь хорошо, не так ужасно, как кажется сперва. Пойдемте, я помогу вам отнести вещи в камеру.

Голос низкий, задушевный.

— Как ваша фамилия?

— Моя фамилия Каулбарс.

— Дочь бывшего губернатора?

— Да.

Я снова, совсем уже по другому взглянула на нее. А она, поймав мой удивленный взгляд, грустно и ласково улыбнулась.

Навстречу нам, неся перекинутое на левую руку белье, озабоченной, деловой походкой шла маленькая, стриженая женщина.

— Александра Федоровна! — обратилась к ней дочь губернатора. — У нас найдется местечко в камере? — и, оглянувшись по стоорнам, она наклонилась и быстро прошептала. — Дочь Толстого, возьмите в нашу камеру, непременно!

Та улыбнулась и кивнула головой.

— Пойдемте!

Мы прошли по асфальтовой дорожке. С правой стороны тянулось каменное двухэтажное здание, с левой — кладбище.

— Сюда, наверх по лестнице, направо в дверь.

Я толкнула дверь и очутилась в низкой, светлой квартирке. И опять пахнуло спокойствием монастыря от этих чистых, крошечных комнат, печей из старинного с синими ободками кафеля, белых стен, некрашенных, как у нас в деревне, полов. Высокая со смуглым лицом старушка в ситцевом, подвязанном под подбородком сереньком платочке и ситцевом же черном с белыми крапинками платье встала с койки и поклонилась.

— Тетя Лиза! — сказала ей Александра Федоровна. — Это дочь Толстого, вы про него слыхали?

— Слыхала, — ответила она просто, — наши единоверцы очень даже уважают его. Вот где с дочкой его привел Господь увидеться! — и она снова поклонилась и села.

Лицо спокойное, благородное, светлая и радостная улыбка, во всем облике что-то важное, значительное.

«Это лицо не преступницы, а святой, — подумала я, — за что она может сидеть?»

— Вот сюда кладите вещи, — сказала мне Александра Федоровна, староста лагеря, указывая на пустую койку рядом с тетей Лизой.

Вдруг дверь из соседней комнаты распахнулась и быстрыми, легкими шагами ко мне подошла прямая, старая дама, с гладкой прической, в старомодном, затянутом платье, с признаками былой классической красоты.

— Позвольте с вами познакомиться. Я Елизавета Владимировна Корф.

— Баронесса Корф?

— Chut, Plus de baronesses! C'est à cause de ça que je souffre! — прошептала она. — Но вы, за что же вас могли посадить? — уже громко спросила она. — Ваш отец был известен всему миру своими крайними убеждениями.

— Обвинение в контрреволюции, а впрочем, я и сама не знаю, за что . . .

— Abominable! — воскликнула она.

Вечером мы сидели вокруг стола в комнате старосты — семь женщин, не имеющих между собой ничего общего — разных сословий, разных интересов, вкусов, развития. Пили чай из большого жестяного чайника. Тетя Лиза пила с блюдечка медленно и деловито; баронесса принесла из своей комнатки маленькую изящную чашечку и пила, отставив мизинчик; дочь губернатора налила кипятку в громадную эмалированную кружку и пила его без сахара, с корочкой отвратительного тюремного хлеба.

— Почему вы чай не пьете? — спросила я.

Староста только рукой махнула.

— Уж от голода распухать стала, а все другим раздает, — сказала она и в глазах ее засветилась ласка, — и масло, и сахар — все.

— Голубушка, Александра Федоровна, не надо, — поморщилась дочь губернатора, — вы не обращайте на меня внимания, пожалуйста . . .

В душе росло недоумение. Где я? Что это? Скит, обитель? Кто эти удивительные, кроткие и ласковые женщины?

Я легла спать. Толстая, нервная дама, другая моя соседка по камере, задавала мне бесконечные, глупые вопросы. Наконец мне это надоело, я отвернулась к стене и притворилась спящей. Но спать не могла.

По привычке, как это было все эти последние дни, я подумала о том, что приговорена в лагерь на три года. Но к удивлению моему, мысль эта не дала мне того тоскливого ощущения почти физической боли, как прежде. Передо мной, заслоняя все остальное, стояло бледное, немного опухшее лицо, обрамленное светлыми, почти рыжими волосами, ласково улыбались серые, добрые глаза. «Везде жить можно и здесь хорошо . . .» «Да, может быть это и правда», — подумала я. В моей душе не было ни страха, ни чувства одиночества . . .

Среди ночи я проснулась. Где-то, казалось под самыми нашими окнами, стучали железом по камню, точно ломом пробивали каменную стену. Гулко раздавались удары среди тишины ночи, мешая спать.

В смежной комнате кто-то заворочался.

— Что? Что? — спросила я.

Никто не ответил, все спали. А стук продолжался. Стучали ломами, слышно было, как визжали железные лопаты о камни. Мне чудилось, что происходит что-то жуткое, нехорошее, оно лезло в душу, томило . . .

На утро я спросила старосту, что это был за стук, точно ломали что-то и копали.

— И ломали, и копали — все было, — ответила она, — девчонки тут, все больше из проституток, могилы разрывают, ищут драгоценностей. Надзиратели обязаны гонять, днем неудобно, ну, так они по ночам. Должно быть надзиратели тоже какой-нибудь интерес имеют, вот и смотрят на это сквозь пальцы . . .

Говорит спокойно, не волнуясь, как о чем-то привычном.

— Но надо это как-нибудь прекратить, сказать коменданту . . .

Она насмешливо улыбнулась.

— Да, надо бы . . . А впрочем не стоит, обозлятся уголовные . . .

— Разве находят что-нибудь?

— Как же, находят. Золотые кольца, браслеты, кресты. Богатое, ведь, кладбище, старинное.

Я вышла во двор. Почти все свободное от построек место занимало кладбище. Должно быть прежде оно действительно было очень богатое, теперь оно представляло из себя страшный вид разрушения и грязи. Недалеко от входа в монастырь, слева могила княжны Таракановой, дальше простой, каменный склеп первых Романовых. На мраморной черной плите, разложив деньги, две женщины играли в карты, тут же рядом развороченная могила — куски дерева, человеческие кости, перемешанные со свежей землей и камнями.

— Девчонки ночью разворочали, — просто сказала мне одна из женщин на мой вопросительный взгляд.

Здесь ко всему привыкли, ничем не удивишь.

— А грех? — сказала я, чтобы что-нибудь сказать.

— Какой грех? Им теперь этот ничего не нужно, — и она ткнула пальцем в кости, — а девчонки погуляют. Да сегодня, кажись, ничего и не нашли, — добавила она с деловитым сожалением.

Никто не возмущался, все были спокойны, безучастны. Почему же меня это так волнует? Расстроенное воображение, нервы?

На следующую ночь я опять не могла спать, снова, когда весь лагерь погрузился в сон — стуки, удары лома и лопаты о камень. И так продолжалось несколько дней. Наконец стуки прекратились. Но началось другое, не менее жуткое.

Вечером, когда наступали сумерки, раздавались страшные, нечеловечские крики. Казалось это были вопли припадочных, безумных, потерявших всякую власть над собою, женщин. В исступлении они бились головами о стены, не слушая криков надзирателей, уговоров своих товарок.

Кокаинистки, с отравленными табаком и алкоголем организмами, почти все крайние истерички, «девчонки» не выдержали этого ежедневного ворошения человеческих скелетов и черепов, срывания колец с костей рук с присохшими на них остатками кожи. Мертвецы преследовали их, они видели их тени, слышали их упреки, их мучили галлюцинации. Ежедневно, как только смеркалось, они видели, как

мутной тенью под окнами проплывала человеческая фигура. Она останавливалась у окна, принимала определенные формы монаха в серой рясе и медленно сквозь железные решетки вплывала в камеру.

Женщины бросались в разные стороны, падали на пол, закрывая лицо руками. Наступала общая истерика, острое помешательство, пронзительные визги перемешивались со стоном и жутким хохотом, от ужаса у меня шевелились волосы на голове, немели ноги.

Нигде нервы не расшатываются так, как в заключении. Сумасшествие молниеносной заразой перекинулось в другие камеры.

Таинственного монаха видели то тут, то там, во всех камерах. В существование его поверили не только уголовные, но и политические.

Монах этот посетил и нашу камеру.

Вечером мы все ушли в наш лагерный театр, где заключенные ставили какую-то пьесу. Дома осталась только толстая барыня и баронесса Корф.

Вернувшись мы застали толстую даму в большом волнении.

— Знаете, знаете, — говорила она захлебываясь, — что у нас было, вы и представить себе не можете. Когда вы ушли, я вошла в камеру старосты, и вдруг на постели у нее сидит . . .

— Монах?

— Вы почем знаете? Да, да Монах. Я решила, что он пришел к старосте по делу и спросила его: «что вам угодно?» И вдруг он поднял на меня свои голубые глаза и насмешливо улыбнулся. Мне стало очень неприятно, я ушла и захлопнула дверь, но не могла успокоиться, снова вошла. Он сидел в той же позе и вдруг я поняла, что он не настоящий монах, что это привидение . . . Я опять захлопнула дверь и пошла за баронессой. Когда мы отворили дверь, его уже не было . . .

Прошло несколько дней Было поздно и мы собирались ложиться спать. Вдруг кто-то сильно хлопнул дверью.

— Кто это? Кто? — нервно вскрикнула толстая дама.

— Не знаю, — ответила староста, — наши кажется все дома, никто не выходил.

Действительно все были налицо.

Я выскочила на лестницу, вниз, во двор, — никого не было.

— Монах, честное слово, монах, — испуганно шептала толстая дама.

— Нервы у вас шалят, сударыня, вот что, — заметила невозмутимая староста. Тетя Лиза вздохнула и перекрестилась.

ГЛАВА 20

ЖОРЖИК

— Что за странный тип? — спросила я старосту, указывая на человека в солдатской шинели, высоких сапогах с мужским, точно выбритым лицом. — Кто это, мужчина или женщина?

— А! Это Жоржик. Ее многие за мужчину принимают. Любопытный тип! Постойте, я позову ее. Жоржик!

— Что прикажете, Александра Федоровна? — бойко отозвалась женщина.

— Ты бы зашла!

— Есть, — ответила та по-солдатски, — вечерком обязательно зайду.

— Любопытный тип, — еще раз повторила староста, — закоренелая, шестнадцать судимостей имеет уже за кражу, но, как видите, жизнерадостности своей не утеряла. Очень способная. Голос громадный и музыкальна. Вот сегодня вечером попросим ее спеть — услышите. И чем только она не была, и певицей на открытой сцене, и борцом — силища у нее непомерная.

— Александра Федоровна, — перебила я старосту, смеясь, — вы как-будто с симпатией говорите об этой воровке.

— Да, представьте себе. Из всех уголовных только ей одной я доверяю. На воровство она смотрит, как на промысел, а в обыденной жизни это честнейший человек. Не то, что вся эта шпана. Я ее еще с Бутырок знаю, вместе сидели. Она там целый скандал устроила из-за барышни одной. Барышня такая слабенькая, худенькая была. Жоржик все за

ней ухаживала и привязалась к ней. Как собака преданная ходила за ней, в глаза смотрела, все для нее делала. И вот кто-то обидел барышню эту, что-то оскорбительное, кажется, на политической почве, ей сказал. Барышня заплакала. Что тут с Жоржиком сделалось, рассвирепела она, себя не помнит, полезла с оскорбителем драться. Была она и сиделкой в больнице тюремной, больные любили ее. Только опять какой-то скандал у нее там с начальством вышел. Убрали ее оттуда. А ловкая какая. Я лично была свидетельницей, как она двумя чайными ложками замок отпирала.

Признаюсь, Жоржик заинтересовала меня.

— А давно она здесь сидит?

— Да около года. Но ведь она на особом положении, добытчицей у коменданта состоит, он на работу ее отпускает...

— На какую работу?

— Как на какую? По ее специальности, конечно, воровать.

— Вы шутите, Александра Федоровна.

— И не думаю. Они и условие между собой заключили. Что Жоржик принесет — пополам делят. Иногда он заказы ей делает. На днях заказал ей для жены боа соболий, так что же вы думаете? Принесла, только не соболий, а скунсовый, собольего, говорит, не нашла. Но Жоржик свою часть всю раздает, ничего себе не оставляет. Подруга у нее тут есть, с ней поделится, а то накупит угощения и несколько дней пир горой идет... Один раз комендант послал ее на добычу. Так что же вы думаете? Попалась ей где-то за городом пара лошадей. Возвращается она с ними в лагерь, вдруг останавливает ее по дороге милиционер. «Откуда коней ведешь?» — «Из Новоспасского лагеря, ковать водила». — «Врешь. Какая может быть ковка в такой ранний час. Идем со мной в лагерь». Пришли они, вызывают коменданта. Комендант сейчас же смекнул, в чем дело. «Ваши это кони, товарищ комендант?» — спрашивает милиционер. «Мои», — отвечает. Милиционер ушел, а коней поделили, как полагалось по условию. Одного получила Жоржик и подарила заключенным, съели его, а другой...

— Ну, уж извините меня! — воскликнула я. — Этому я не поверю, сказки все это.

— Какие же сказки? — обиделась Александра Федоровна. — Весь лагерь об этом знает, да и сами убедиться можете. Вон посмотрите, комендантская лошадь пасется . . . — и она указала мне на серую в яблоках худую лошадь, старательно выщипывающую траву между могильными плитами.

Вечером Жоржик была у нас в гостях.

— Ну, пришла, — сказала она таким тоном, точно знала наперед, что все будут ей очень рады.

Сели пить чай. В центре внимания — гостья, воровка, шестнадцать раз побывавшая в тюрьмах — царских, советских — безразлично, изведавшая все пороки, вся сотканная из сложнейших противоречий: жестокая и вместе с тем сердечная, добрая к окружающим; завистливая до чужого добра и совершенная бессеребренница; грабительница, воровка, сохраняющая свою честь и воровскую этику, а главное и прежде всего — спортсменка. Вся жизнь для нее опасная игра, в ежеминутном риске свободой, даже жизнью — цель, наслаждение, смысл ее существования.

Тихая, робкая, набожная, ничего не видавшая кроме своей украинской деревни, девушка Дуня со страхом смотрит на Жоржика. Дуня живет в одной комнате с дочерью губернатора и бессознательно старается в ней найти защиту от всех этих «городских», «гулящих», которые часто задевают Дуню, называя ее тихоней, подхалимкой, прислугой в «господской» камере. Жоржик не интересует Дуню и она удивляется, как мы могли эту «бесстыжую, пропащую» пригласить к себе в гости.

Баронесса тоже шокирована: ей неловко, но она скучает одна в своей крошечной темной камерке. Она пришла смотреть на Жоржика, как на любопытное зрелище.

Дочь губернатора то уходит, то возвращается. Жоржик не вызывает в ней ни отвращения, ни особого интереса. Она смотрит на воровку с глубоким состраданием.

Но больше всех взволнована тетя Лиза. Она не может вынести присутствия этой грубой, погрязшей в тяжких грехах женщины. Каждое слово, движение Жоржика нарушает ее покой, потрясает ее до глубины души. Старушка наливает себе чашку чая и уходит в соседнюю комнату.

Жоржик скоро перестает стесняться. Один за другим она

демонстрирует свои таланты. Став в позу, она вдруг громадным слегка охрипшим голосом затягивает какую-то арию, но не выдержав перешла на шансонетку и, высоко задирая ноги, стала изображать кафешантанную певицу.

— Abominable! — простонала баронесса.

— Господи, помилуй нас грешных, — раздался голос тети Лизы из-за перегородки.

Вдруг фигура Жоржика преобразилась. Она вся напружилась, шея ее вздулась, лицо налилось кровью и, подрагивая всем телом, как бы от страшного напряжения, она стала изображать будто бы поднимает с пола пятипудовую гирю. Громадными шарами на руках выступили мускулы, Жоржик тужилась и вдруг, как будто с невероятным усилием, выкинула руку кверху и широко расставляя ноги, балансируя пошла по комнате.

— Прекрасно, браво, браво! — кричали мы. — Очень похоже.

— Еще бы не похоже, — с гордостью возразила она, — как может быть непохоже, когда я на открытой сцене четыре месяца силачкой работала.

— Жоржик, расскажи про свои похождения, — попросила староста.

— Можно. Только вот выпить у вас нечего . . .

— А чай?

— Чай, это что. Вода и вода, кабы поднесли, совсем другой табак был бы. Ну да ладно.

Жоржик уселась, заложив ногу на ногу и утирая вспотевшее, красное с широкими скулами и мясистым носом лицо:

— Дело еще при старом режиме было. Работали нас две партии «домушников».* Конкуренция между нами была большая. Рады были друг друга на смех поднять. Вот собрались мы один раз в трактире и давай друг перед другом бахвалиться. Мы вот что добыли, а мы вот что. «Погодите, — говорят, конкуренты наши, — мы вам одну штучку покажем». И приносят самовар —серебряный, изящный такой. «Хорош, — говорю, — самовар, а где же камфорка-то с него?» — «Нету», — отвечают. «Как так нету?» — «Да так,

* Домушники — воры, обкрадывающие квартиры.

нету. Тревога случилась, камфорку в суматохе-то и забыли». — «Фю, фю, — просвистала я эдак насмешливо, — самоварчик-то хорош, слов нет, да чего он стоит без шапочки-то . . .» Рассердилась другая партия: «Чего насмешничаешь, ты вот лучше достань, попробуй». — «Ну, что ж, достану!» — «Не достанешь!» — «Достану!» Ударили мы по рукам и условие такое сделали: если я камфорку достану, самовар мой, их угощение, а коли я проиграю, что хотят, они могут с меня потребовать, да вдобавок и угощение мое.

Вышли мы из дома. А моя партия, я у них за старшего была, давай меня ругать: чего ты, дура, ну как можно камфорку достать. В квартире все напуганы, во второй раз туда не полезешь. «Молчать! — прикрикнула я на них. — Слушаться моих приказаньёв! Айда к барышнику!» Ладно. Приходим мы к барышнику, барышник — это вроде, как костюмер наш, всякие у него костюмы достать можно. «Давай! — говорю ему, — два костюма: околоточного надзирателя и городового!» На следующее утро оделись мы. Я — в мундире околоточного надзирателя, а приятель мой — городовым. А меня, когда я в мущинское оденусь, никак нельзя узнать, что женщина. Приходим прямо на квартиру — звоним. А в квартире этой генерал жил . . .

— Ох, Жоржик, заливаешь, — перебила ее староста.

— Ей Богу, Александра Федоровна, хотите перекрещусь . . .

— О, Господи, — опять послышались тяжелые вздохи тети Лизы из соседней комнаты, — уж не крестись ты, не греши еще больше.

— Ну, ладно, тетя Лиза, не нойте! Только все это правда, что я вам говорю. Приходим — звоним, открывает горничная в беленьком фартучке. «Как об вас доложить?» — «Скажите его высокопревосходительству, околоточный надзиратель пришел по ихнему делу». Смотрим, выходит генерал, толстый, представительный такой, голос, как из бочки. «Что нужно?» Вытянулись мы во фронт, как полагается.

«Так что по вашему делу, ваше высокопревосходительство!» — «По какому делу?» — «Насчет самоварчика вашего, похищенного ворами». — «Ну и что же! Находится?» — «Неизвестно еще, ваше высокопревосходительство! Тот самовар,

который у нас на примете, без камфорки, ваше высокопревосходительство!» — «Да, да, — оживился генерал, — камфорку жулики, действительно, не успели взять . . .» — «Ваше высокопревосходительство, — говорю я, — разрешите нам эту камфорочку, мы примерим ее. Если камфорочка придется, уж тут явный факт, что самовар, о котором мы подозреваем, действительно вашего высокопревосходительства и через два часа мы его вам представим!» Обрадовался генерал: «Марфуша! — кричит. — Принесите камфорку от серебряного самовара». Взяли мы камфорку и пошли. Пришли к своим. «Что, — говорю, — бараньи головы, выпить вам хочется? Да и самоварчик опять за хорошие деньги продать можно, с шапочкой то . . .»

— Mais c'est du talent! — воскликнула баронесса и, грешным делом, мне показалось, что симпатии ее в эту минуту были не на стороне генерала!

И еще одно свое приключение рассказала нам Жоржик в этот вечер.

— А это дело было уже после революции, — начала она, залпом выпив кружку чая и закуривая, — как раз шла тогда эта национализация самая. И в Москве среди торговцев горячка была ужасная, товары за полцены распродавались, лишь бы только не отобрало правительство все задаром. Слонялась я по Москве без денег и без дела, а одежу жалко было продавать, хорошая была одежа, да и ржавья * на мне порядком было понацеплено: браслет, брошь с рубинами и кольцо с бриллиантом небольшим, — барыня да и только! Зашла я на Садовой в дровяной двор, узнаю, что дрова там очень дешево распродаются. Выходит ко мне хозяйка. «Здравствуйте!» — говорю. — «Здравствуйте, — отвечает мне, — мадам! Чем могу вам заслужить?» — «Дрова мне нужны». — «С моим удовольствием, — говорит, — сколько прикажете?» — «Да саженей десять, только вот дрова у вас дороговаты». Она даже обиделась: «Помилуйте, мадам, дрова очень дешевые, только нужда крайняя заставляет за такую цену товар распродавать». — «Какая же такая у вас нужда?» — спрашиваю. «А такая нужда. Одна я сейчас. Муж мой с фронта так и не ворочался, может в плену, а

* Золота.

может убит, жила я с дров, а теперь, говорят, все склады национализируют, вот и продаю . . .» — «А все-таки я за такую цену не возьму, дорого, дрова нынче по этой цене с доставкой везде достать можно». — «Да я с моим удовольствием доставлю вам». Ну, сторговались мы с ней.

Записала я телефон дровяного склада и обещалась ей сообщить, куда и когда дрова доставить. «Начало, — думаю я себе, — хорошее, какой-то конец будет?» Иду на Трубную площадь, трактир там имеется «Париж». Прихожу, расселась барыней. «Подайте, — говорю, — мне бифштекс кровавый, — очень я кровавый бифштекс обожаю, — и чашечку горячего кофе». Подали. Сижу, не спеша, маленькими кусочками бифштекс кушаю, с хозяином разговор завожу, а сама думаю: «Чем же я платить буду, в кармане — полушки нету!» — «Плохие, мол, дела сейчас. Все отбирают, порядочных людей по миру пускают». — «А вы разве чем торгуете?» — спрашивает хозяин. — «Торгую, склад у меня дровяной». Дальше, больше. Разговорились мы, хозяину, оказывается, как раз дрова нужны. Назначила я цену, еще много дешевле, чем сама с дровяным складом сторговалась, смотрю — глазки у него заблестели. «Сухие дрова-то?» — «Дрова, мол, не сомневайтесь, прошлогодней еще заготовки». — «Ну, ладно, — говорит, — по рукам».

Подхожу я не спеша к телефону, вызываю номер дровяного склада. «Алло, алло!» — «Откуда говорят?« — спрашивает хозяйка склада. «Из трактира «Париж», — отвечаю. — «Кто говорит?» — «Хозяйка!» Хозяин трактира думает, что хозяйка дровяного склада говорит, а хозяйка дровяного склада думает, что хозяйка трактира «Париж» говорит. — «Сию же минуту, — приказываю я грозным голосом, — доставить в трактир «Париж» по такому-то адресу десять саженей дров!» Хозяйка дровяного склада узнала мой голос и говорит: «Но я, мадам могу сегодня доставить вам только пять саженей, остальные завтра. У меня возчиков нет!» — «Ну хорошо, только везите скорее!» Спросила я еще осетринку с хреном, сижу, не спеша, кушаю.

Ждала я с лишним два часа. Наконец привезли дрова — первый сорт! Вышел хозяин на двор показать возчикам, куда их складывать. А у меня душа в пятки: пан или пропал?! Вернулся хозяин, руки потирает: «Хороши дрова ваши,

очень хороши». — «Как же, — говорю, — насчет расчета, а то мне и домой пора». — «Что ж, — отвечает, — теперь можно и расчетец учинить». — «Ну, угодила я вам, — говорю, — теперь и вы меня уважьте! Платеж у меня срочный, будьте любезны уплатить сегодня за все десять саженей, остальные пять я завтра вам пораньше утречком доставлю!» — «Извольте», — говорит. Ну, сосчитала я деньги не спеша, выдала ему расписку, за закуски расплатилась, все честь по чести. Вышла во двор и говорю возчикам: «Получше складывайте, ребята!» — «На чай дадите, постараемся, мол». Думают, я хозяйка трактира. А я тихонько, да и марш на улицу, да стрекача . . .

Верите, не утерпела, на другой день мальчишку посылала разузнать, как они там между собой распутались. Только мальчишка дурак. Разузнать, ничего не разузнал, да чуть не всыпался! Так-то вот!

— Жоржик, — спросила я ее, — а вы пробовали когда-нибудь жить по честному, не воровать?

Лицо ее сделалось мрачным, почти злым.

— Пробовала. Не могу. Один раз шесть месяцев не воровала. Так такая тоска меня взяла, думала с ума сойду от этой честной-то жизни вашей . . . Встретила товарищей, опять ушла, не вытерпела.

— А страшно было, как на первое дело пошла?

— Не помню. Давно дело это было. Про Сашку Семинариста слыхали?

— Слыхали!

— То-то и оно, про него даже в газетах писали, — и в голосе Жоржика послышалась некоторая гордость, — вот он меня и учил, с ним вместе работали. Я сама петроградская. Родители мои жили очень бедно. Сначала решили мне хорошее образование дать. В гимназии я училась, только не осилила, взяли меня из пятого класса и замуж отдали за старика богатого. Гадкий был старикашка, семьдесят лет, а такой пакостник, что и не выговоришь. Не вытерпела я, стащила у него «катеньку» и драла. Куда идти? Мне тогда семнадцать минуло. Остановилась я в номерах, страшно было одной-то. Ну вот тут-то Сашка Семинарист и встретился со мной, сошлась с ним . . .

— Э, да чего старое поминать?! Дайте-ка мне лучше па-

пироску, — она закурила и с силой несколько раз затянулась. — Четвертый десяток пошел! Не к чему меняться-то уж. Пристрéлят где-нибудь, как собаку под забором, или в тюрьме издохну — все едино.

И опять хмурое, почти злобное лицо.

— Орлова, Манька! На свидание!

Маня, торопливо сложив работу, поправив перед кусочком зеркала кудельки на лбу и привычным движением проведя красным карандашом по губам, рысью бежала с лестницы.

— Гражданку Корф на свидание!

Мы всегда чего-то ждем и эти надежды, малые и большие, как звезды сияют, освещая жизнь. В тюрьме мы ждали воскресений. Дни свиданий были малыми звездами в тюремной жизни. Большой, ярко сиявшей перед нами звездой была надежда на освобождение.

Пока меня не вызывали, я томилась, не сиделось в камере. Я вышла во двор, прошла к воротам. Здесь толпились уже люди: проститутка Зинка, нацепила на голову могильный венок и выплясывала около ворот, напевая похабную песню, кое-где около памятников и на плитах сидели подвое, разговаривали. В дальнем уголке на выступе памятника сидела баронесса Корф с другой старушкой, приятельницей, которая каждое воскресенье приходила к ней, принося скромную передачу, главное немножко кофе, без которого баронесса не могла существовать. Обе они сидели прямые, высохшие, подобранные, точно боясь запачкаться окружающей их физической и моральной грязью. До меня долетали обрывки французских фраз.

— Навстречу мне, чуть не сбив какую-то заключенную с чайником, пронеслась Зинка-проститутка.

— Чёрт, полоумная, — бросила ей та.

— Мать на свидание пришла! — и Зинка понеслась дальше.

Под окнами слонялась Пончик, обрывая большие кленовые листья, прикладывала их к губам, щелкала.

— Мать ждешь?

— Не придет. Все болеет...

— Гражданка Толстая, к вам.

Знакомые, друзья, в руках корзины с передачей.

Иногда приходила сестра Таня, она так же, как баронесса, входила, точно платье подбирала, боясь запачкаться... Лицо ее выражало брезгливость, отвращение. Она старалась не замечать грубо намалеванных лиц, не слышать грязных слов.

Кривая Дунька, подражая Зинке, плясала и кривлялась, напевая гадкую песню.

Сестра казалась мне существом другого мира, и я мучилась вдвойне. Когда она уходила и захлопывались за ней тяжелые ворота, я чувствовала облегчение.

Но приходило воскресенье, и мы снова ждали, ждали всю неделю, и волновались. В ночь с субботы на воскресенье не могли спать от волнения.

Дочь губернатора, Александра Федоровна и Дуня были лишены и этой радости, у них не было в Москве ни родных, ни знакомых.

ГЛАВА 21

РАЗГРУЗКА БРЕВЕН

— Уголовные! На работу! — кричали под окнами надзиратели.

Некоторые политические, в том числе и я, пошли помогать.

Трамвайные платформы подвозили пятивершковые, сосновые бревна и сгружали их недалеко от ворот. Строительный материал этот шел на отопление лагеря. Саженях в десяти от трамвайной линии редкой цепью рассыпалась охрана. Взад и вперед сновали женщины, кряхтя под страшной тяжестью. Почти все таскали по-двое, только Жоржик работала одна. Играючи она подшвыривала бревно на могучие плечи и, перебраниваясь с заключенными, рысцой бегала взад и вперед. Я ухватила бревно поменьше, но зашаталась и остановилась. В это время кто-то ударил меня концом бревна в спину.

— Эй, осторожнее там!

— А ты не путайся под ногами, сволочь...

Я свалила свое бревно с плеч и оглянулась. Высокая, худая женщина, низко на лоб повязанная белым платком, согнувшись под тяжестью, едва передвигала ноги.

— Постой! Давай вместе! Ну, перехватывай!

Она как-то странно, точно прищурившись, насмешливо смотрела на меня.

Мы свалили бревно и стали таскать вдвоем.

— А что, стукнула я вас? — вдруг спросила она меня, когда мы остановились передохнуть.

— Ничего, только вот зачем ругаешься?

— А вы политическая?

— Да.

— Так зачем работаете? Чудные!

Уже высоко поднялась луна. Свет упал на лицо женщины, и я увидела, что правый глаз затянут бельмом.

— Как тебя зовут?

— Дунькой, меня здась «кривой Дунькой» прозвали.

Резко вырисовывались белые монастырские стены, купола церквей. Фигуры женщин и красноармейцев в остроконечных шапках бросали причудливые тени на землю. Хорошо пахло смолой. Быстро плыла луна, то освещая землю зеленовато-синим, прекрасным светом, скрашивая нищету, убожество, грязь окружающего, то прячась за тучи. Мы сели отдохнуть.

«А все-таки жизнь прекрасна» — подумала я.

— Сволочь гладкая! Я вам посижу! Мать вашу!..

Я и не заметила, как подошел надзиратель.

Я занималась в лагере просветительной работой, решила устроить школу для неграмотных уголовных. Комендант поощрил мое начинание и даже отпустил в Народный Комиссариат Просвещения в город за пособиями и волшебным фонарем для лекций.

Но первые мои шаги на пути к просвещению начались неудачей.

Надо было перепесать всех неграмотных и я сговорилась с комендантом, чтобы сделать это при вечерней повер-

ке. Поверка происходила на дворе. Женщины выстраивались шеренгой и помощник коменданта, или сам комендант, с надзирателем ходил по рядам с карандашом и списками в руках и выкликал заключенных.

— Степанова!

— Здесь.

— Ильвовская!

— Я.

Одна из женщин, увлекшись разговором с соседкой, ответила не сразу.

— В карцер.

— За что же это? Что ж я такое сделала?

— Молчать! В карцер!

— Не можете за это человека в карцер сажать. Что ж я такое сделала? Таких правов даже нет!

— Я те покажу права. Возьмите ее! — крикнул он надзирателю. — В Романовский!

Женщину схватили и поволокли, она изо всех сил отбивалась, визжа и ругаясь.

Поверка кончилась, разошлись, но через несколько минут на дворе послышались взволнованные голоса и две женщины ворвались в камеру.

— Александра Федоровна, скорей! Самсонова бьется!

Мы вскочили и со всех ног бросились за ними, вниз по лестнице, на кладбище, мимо памятников, могильных плит к Романовскому склепу.

Он был заперт большим висячим замком. В мрачных стенах не было ни малейшего просвета. Где-то, казалось очень глубоко, глухо слышно было, как билось тело.

Стоило величайших усилий добиться от коменданта освобождения Самсоновой из карцера. Когда наконец отперли склеп и вынесли женщину из подвала, она была без сознания. Тело ее сокращалось в судорогах, пена застряла в углах рта, текла по подбородку, из горла вырывался хрип.

Я видела Самсонову на другой день вечером, когда она вместе с другими возвращалась с работы. Она шла с трудом, едва передвигая ноги.

— Как вы себя чувствуете, Самсонова? — спросила я.

Она подошла ко мне вплотную и просто, без слов, подняла сборчатую юбку. Я невольно отшатнулась. Нога выше

колена страшно распухла и вся была покрыта ссадинами и иссиня-багровыми кровоподтеками.

Особенно тяжелое впечатление на меня всегда производила молоденькая девушка Надя. Тюрьма сломала ее, опустошив ее детскую душу, беспощадно бросив ее на путь разврата, преступления...

Я никогда не видала на этом лице улыбки, радости.

— Надя...

Она подымает большие, черные глаза и смотрит испуганно, как побитая собака.

— Надя, опять? — спрашивает ее дочь губернатора.

Надя низко опускает голову и молчит.

Я часто вижу, как она сидит на каменной плите, устремив глаза в одну точку.

— Вот поругайте ее, Александра Львовна, кокаин нюхает. Сахар продает, хлеб пайковый, зарабатывает что, — все на кокаин тратит.

— Все равно...

— Как это так все равно. Ты молодая, тебе жить надо, а ты губишь себя.

— Мне легче так, не думается.

Дочь губернатора наклоняется к ней и что-то шепчет. Резким движением девушка вдруг отстраняется от нее и вскакивает.

— Неправда, неправда все это! Если Бог существует, разве Он допустил бы!.. Ха, ха, ха! Сказали тоже, Бог... ха, ха, ха!

Надя истерически хохочет, черные глаза ее сверкают, на щеках выступают красные пятна.

— Надя, Надя, успокойся, пойдем к нам...

— К вам? К порядочным? К честным? А вы знаете, кто я? Знаете?

— Перестань, Надя!

— А, боитесь, чтобы я сказала, а я вот нарочно скажу: я, я ...

— Замолчи, Надя! — властно крикнула дочь губернатора. — Молчи, слышишь?! Пойдемте, ей лучше одной ...

— А-а-а-а! Не хотите слушать. Не нравится. Святые тоже... ха, ха, ха!

И долго в ушах звенел безумный, истерический хохот отравленной кокаином девушки, потрясая душу беспросветным ужасом.

Вечером дочь губернатора рассказала мне Надину историю. Она жила с семьей в пограничной полосе, в Западном крае. Почему-то она оказалась оторванной от семьи, и когда пробиралась домой, ее схватили красные и обвинили в шпионаже. Ей было шестнадцать лет, она училась в пятом классе гимназии.

Несколько дней ее держали под арестом в маленьком пограничном городке. Случайно она попалась на глаза коменданту. Он стал заговаривать с ней, и наконец обещал ей свободу, если она исполнит его требования. Почувствовав скорее, чем поняв правду, она отказалась. Он силой овладел ею, и, обозлившись за сопротивление, снова бросил ее в тюрьму. Здесь ее поочередно насиловали надзиратели. Когда ее отправили по этапу в Москву, она была полупомешанная. По дороге она заболела, попала в больницу, где чуть не умерла.

С первых же дней я обратила внимание на низенькую, толстенькую с крепкими румяными щечками, девушку. На вид ей было лет пятнадцать, лицо ее сохранило какую-то детскую наивность, чистоту. В лагере ее называли «Пончиком», и это название очень подходило к ней, — она была похожа на сдобную, румяную булочку.

Заключенные очень хорошо относились к ней, но часто ласково и добродушно над ней посмеивались.

— Пончик, а Пончик, за что в тюрьму попала?

Девочка улыбалась и молчала.

— Пончик, скажи мне, я не знаю.

— За пончики, — отвечала девочка, потупив свои голубенькие глазки.

— Как же так, за пончики?

Девочка пыжилась, краснела, но потом рассказывала свою историю. Они жили вдвоем с матерью. Мать пекла пироги, а девочка носила их продавать. Право на торговлю они не имели, торговали так, на шаромыжку.

— Сидишь, торгуешь, а сама так во все стороны и глядишь, чтобы милиционер не поймал. А увидим милиционера, все лотошники бежать, кто куда, в переулок ли какой, в подворотню...

Один раз я попалась. Милиционеры облаву сделали. Схватили, требуют штраф. А сами, собаки, похватали мои пончики, только что мать из печки вытащила, горячие, да и давай лопать. Не успела оглянуться — лоток пустой.

Пончик вздохнула и проглотила слюну.

— Ну, денег у нас с матерье не было, меня посадили... Вот и все.

— Пончик! — крикнула кривая Дунька, — это ты в первый раз за пончики сидела... А теперь за что? Ты вот им, — она ткнула грязным пальцем в мою сторону, — расскажи, как ты с кавалерами гуляла, да ка...

— Не хочу, не хочу...

— Расскажите мне, Пончик, я смеяться не буду.

Вдруг все лицо ее сморщилось, опустились книзу полные губы, задрожала нижняя челюсть и она громко, по-детски заплакала.

— Мадамочка, угостите папиросочкой.

— Пожалуйста. Ваша фамилия Ильвовская?

— Нет, то есть да, сейчас моя фамилия Ильвовская, но я, видите ли, столько фамилий переменила, что иногда забываю.

— Зачем же?

— Наше ремесло такое. Попалась Васильевой, отсидела, вышла на волю Владимировой, а там...

— У, паскуда, — буркнула уголовная воровка-профессионалка, — какое же у тебя ремесло?

— А вы, мадам, меня не задевайте! — огрызнулась Ильвовская. — Если мы по ширме * работаем, то это нам гораздо способнее. Два дела зараз делаем... Посмотрели бы вы, с какими кавалерами гуляю. На отдельной квартире жила... Как вы думаете, мадам, — обратилась она ко мне, — фамилия Ильвовская приличнее, чем Васильева?

— Не знаю. А за что сейчас сидите?

— Пустяк. Золотые часы с цепочкой. Ах! мадамочка. Вот я такая глупая... Не поверите. Влюбилась. Армяшечка. Такой душка-брюнет, глаза, как огонь, одет прилично, запон-

* «По ширме», на воровском жаргоне, — карманники.

ки золотые, костюм английский, модный. Шик! Влюбилась, влюбилась... А он, верите ли, ничего не жалел для меня. Только ремесло проклятое сгубило. В номерах было дело. Заснул он. А я не сплю, золотые часы с цепочкой не дают мне покоя. Не вытерпела я, встала, оделась, ухватила часы, да бежать. Только из дверей, а он меня — цап. Засыпалась. Мадамочка, подарите еще папиросочку.

Ильвовская закурила и лихо, тряхнув кудерьками, во все горло заорала:

Я на бочке сижу,
А под бочкой мышка,
Пускай белые придут,
Коммунистам крышка!

— Ну и отчаянная же, — промолвила староста, — ничего не боится.

— Шпана... — с величайшим презрением прошипела одна из уголовных

— За что вас посадили, тетя Лиза?

— За самогон.

Я с удивлением посмотрела на нее. Неужели я ошиблась. Тетя Лиза производила впечатление человека верующего, сильного духом, одна из тех крестьян самородков-сектантов, которых так высоко ценил отец.

— Вы гнали самогон, тетя Лиза?

— Господь с вами! Наша вера этого никак не дозволяет, не курим, не пьем и во всякой чистоте должны соблюдать себя.

— Как же так?

— Соседка у нас самогоном занималась. Ну, нагрянула милиция, перепугалась она, да из своего погреба взяла котел к нам в сарай перенесла. Обвинили меня, да вот без суда и следствия шестой месяц держат здесь. Ну, да везде Бог, Его святая воля.

Каждое воскресенье утром в камеру к нам приходила девочка лет тринадцати с узелком — белым хлебом, яйцами, бутылочкой молока. Девочка называла старушку «тетя Лиза», тетя же Лиза ее называла «дочкой».

— Воспитанница наша. Все равно,что дочка мне, — говорила она, ласково гладя девочку по гладкой, белокурой головке, — это одиннадцатая. Одиннадцать воспитали, некоторые в люди вышли, работают, ну я четверых замуж отдала.

— Тетя Лиза, голубушка, объясните мне, как вы живете. Как это вы сирот держите?

— Ну, что вам сказать? Дело это издалека ведется. Скопцы мы. Скопчество еще с юности приняли. Ну болесть принимать мы с сестрой не стали, а так обещались, чтобы в чистоте жизнь свою прожить. Помиловал меня Бог, спас, прожила я век свой, не согрешила.

— Трудно было, тетя Лиза?

— Нет. Один раз только соблазн пришел великий. Полюбился мне парень один, уж как он меня уговаривал, улещал. Заболела я даже, думали чахотка у меня. Ну ничего, перешло все это, да ведь и то сказать, глупость это одна, слабость. Сестра вот не выдержала, согрешила. Много слез мы тогда с ней пролили. Ну, пришла она домой, плачет, разливается. Соблазнитель ее бросил, а она в положении... Родила она, только ребенок с недельку пожил, да и отдал душеньку Богу. И решили мы тогда с ней грех сестрин замаливать — сироток на воспитание брать.

— Как же вы жили, тетя Лиза?

— Очень просто. Вязальная машина у нас есть, трех коз держим, с десяток кур, — вот и живем. А много ли нам надо?

Я смотрю на ее сухое, скуластое лицо с повязанным на голове ситцевым, всегда чистым, сереньким платочком, на ее черную с белыми крапинками ситцевую кофту навыпуск, такую же юбку в сборах, смотрю в ее умные, черные глаза, такие спокойные и чистые, и мне делается неловко и стыдно за себя, за свою жизнь...

Да, ей немного надо, а если надо, то не для себя, для других.

Говорит тетя Лиза мало, по утрам читает Евангелие, отчего глаза ее краснеют и слезятся; отмечает страницу насиженной мухами закладочкой с ангелочками.

Тетю Лизу выпустили через месяц после того, как меня посадили.

— Тетю Лизу на свободу! — во все горло орала Жоржик.

Все сбежались провожать.

— Давайте вещи свяжу.

— Я донесу вам вещи до ворот, — пищала Пончик.

— Тетя Лиза, хлебца на дорожку.

— Голубушка, тетя Лиза, осиротеем мы без вас, — ласково говорила дочь губернатора, — но я так рада, так рада за вас.

Тетя Лиза сияет. Она суетится, спешит, но всем успевает сказать ласковое слово.

Мы идем толпой к воротам, неся узелки тети Лизы, она сконфуженно и ласково улыбается. Открываются тяжелые ворота.

— Тетя Лиза, как же вы донесете все?

— Ничего, тут в Крутицах знакомые есть, кое-что у них оставлю, а потом за остальным приду. В воскресенье наведаюсь, — говорит она и низко в пояс кланяется, — Господь с вами!

Открываются тяжелые ворота, тетя Лиза взваливает один узел на плечо, забирает остальные в обе руки.

— До свидания! Прощайте, тетя Лиза, счастливый путь! — слышатся голоса.

Снова со скрипом закрываются ворота. Некоторые плачут. Не то о тете Лизе, не то о себе... На душе у меня светло.

ГЛАВА 22

КУЗЯ. КОМЕНДАНТ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

У меня разболелся зуб. Я сходила в амбулаторию при лагере, помазали иодом десну, но зуб продолжал болеть. Пришлось просить коменданта отпустить к врачу.

— Да идите пожалуй, только — охрана есть ли, не знаю.

— Кузя дома, — сказал помощник коменданта.

— Ну, нарядите Кузю.

Нас собралось человека четыре с больными зубами. Надо было идти довольно далеко — в Ивановский монастырь,

также превращенный в лагерь, где имелся зубной врач для заключенных.

Ждали охрану.

— Ну идемте, что ли! — крикнула нам, выходя из конторы красноармейка. — Да идите тише, — крикнула она, когда мы, выйдя за ворота и обрадовавшись простору, быстро зашагали по улице.

— И так тихо идем, — огрызнулась женщина в красном платочке из уголовных, — аль не поспеешь?

— Где ей поспеть, она в своей шинели запуталась, — заметила другая, — Кузя, смотри сапоги не потеряй!

Я оглянулась на Кузю. Какое это было несчастное создание! Маленькое худенькое личико утопало в громадной фуражке, хлястик шинели тащившейся по земле спускался вершка на два ниже, сапоги были настолько велики, что Кузя волоком тащила их за собой, тяжелая винтовка давила худенькие плечи, громадный наган, висевший у пояса, завершал обмундирование этой девочки, которой на вид было не больше 16 лет.

— Кузя, а что коли мы бежать вздумаем? — сказала я.

— Поймаю!

— Как же ты поймаешь? Нас четверо, бросимся в разные стороны, кого же ты ловить будешь?

— Одну поймаю, а за всех отвечать не буду, коли убегут. Да вы этого со мной не сделаете, зачем подводить меня будете . . .

— Эх ты, вояка! — засмеялась женщина в красном платочке. — Зачем тебе отвечать. Револьвер-то на что? Раз, раз, перестреляла всех и дело с концом!

— Да револьвер-то не заряжен! — вдруг жалобно пропищала Кузя, и вдруг, точно спохватившись, грозно закричала:

— Тише идите, говорят вам, сволочь!

Кормили нас плохо. По утрам Александра Федоровна получала продукты на руки: полфунта полусырого тяжелого с мякиной хлеба на человека в день, сахар и масло. Чистыми маленькими ручками она аккуратно раскладывала

кусочки газетной бумаги на столе и разрезала соленое, желтое, захватанное грязными пальцами масло на маленькие кусочки, и чайной ложечкой рассыпала на равные кучки сахар, полторы ложки на человека.

К обеду давали суп, чаще всего из очистков мороженой картошки. И так как промыть мокрую, мягкую, иногда полугнилую картошку было трудно, суп был с землей, приходилось ждать пока грязь осядет на дно чашки. На второе давали пшённую кашу без масла. К ужину ту же пшённую кашу или по одной вобле. Воблу мы предварительно долго и сильно били о могильные плиты, пока из нее не вываливалась оранжевая икра или темные молоки и она не делалась мягкой.

Между заключенными шла постоянная мена. Меняли хлеб на папиросы, на сахар, на старую одежду.

— Эй, Пончик! Жоржик хлеб на папиросы меняет.

И вечно голодная девочка, откуда-то раздобывшая пачку папирос, мчалась стрелой в камеру к Жоржику за хлебом.

В нашей камере только армянка, арестованная за спекуляцию бриллиантами, и я получали передачу. Но иногда, может быть раз в месяц, политические получали сахар, постное масло и папиросы из Красного Креста.

Согласно тюремной этике, установившейся среди политических, продукты, получаемые из дома, передавались в общий котел, только на табак и папиросы признавалось право личной собственности.

Когда приходила передача из Красного Креста, устраивался пир. Затапливали камин, пропитывали хлеб подсолнечным маслом и жарили на углях. Запивали сладким в накладку чаем. Было уютно в маленькой келье около старого камина из белого с синими ободочками кафеля. Не похоже, что в тюрьме.

Одна только дочь губернатора не принимала участия в нашем пиршестве.

— Пожалуйста, идите к нам жареное есть! — кричали ей.

— Благодарю вас, я сыта, — отвечала она.

А на утро Надя, или еще кто-нибудь из уголовных, выходила из ее комнаты с пакетом и бутылкой постного масла.

Кусочки пайкового масла она отдавала Дуне или баронессе.

— Изведете вы себя, — упрекала ее староста, — нельзя так.

— Не ем я его, Александра Федоровна. Обхожусь, — отвечала она, улыбаясь своей кроткой улыбкой.

Должно быть я никогда не узнаю, как трудно было моим друзьям доставать все то, что они приносили мне в заключение. Передачи были громадные, я никогда не могла бы одна поглотить всего, что приносилось, но нас было 8—9 человек и иногда на два последних дня еды не хватало.

Среди заключенных давно уже были разговоры о том, что львиная доля продуктов шла на администрацию лагеря. Все возмущались втихомолку, но говорить громко об этом боялись.

— А что полагается коменданту и его помощникам? — спросила я как-то у старосты.

— Да ничего не полагается, у них свои пайки...

— Так почему же никто не протестует?

Староста только рукой махнула.

А на обед опять принесли суп из очистков и кашу без масла.

— Я пойду к коменданту, — сказала я, — это чёрт знает что такое. Нельзя же молча смотреть, как заключенные голодают.

— Напрасно вы это, Александра Львовна, ей Богу напрасно.

Но остановить меня было трудно... Схватив котелок, я пошла в контору. Комендант в фуражке сидел за письменным столом и с видимым напряжением рассматривал какую-то бумагу.

— Товарищ комендант! Смотрите, чем нас кормят.

— Что-о-о-о?

— Неужели нам полагается вместо картошки картофельные очистки в суп? и каша без масла?

— Вы что, гражданка Толстая, бунтовать вздумали?

— Я хочу, чтобы заключенные получали то, что им полагается. Больше ничего.

Широкое весущатое лицо вдруг побатровело, громадный кулак поднялся в воздух и с силой ударился о стол.

— Молчать! Эй, кто там? Назначить гражданку Толстую дежурить в кухню на двадцать пятое и двадцать шестое декабря.

Я повернулась и вышла.

В день Рождества я встала в шесть часов и пошла в кухню. Было еще темно.

Дядя Миша — единственный монах, каким-то чудом удержавшийся в Новоспасском — гремя ключами, пошел выдавать продукты. На кухне одна из кухарок стала делить на две половины масло, сахар и мясо.

— Что это вы делаете? Куда это?

— Коменданту и служащим.

— Не надо! — сказала я.

— То есть как это не надо!?

— Не надо резать. Все это пойдет на заключенных. Администрации ничего не полагается.

Кухарки ворчали, бранились, но я как цербер следила за продуктами, поступавшими в кухню, и настояла на своем. В первый день Рождества заключенные получили хороший обед.

Но комендант смотрел на меня волком. Заключенные качали головами.

— Не простит он вам этого. Не сможет теперь отомстить потом сорвет.

Да я и сама чувствовала, что положение мое в лагере должно было измениться. Прежде мне разрешалось иногда ходить в город: в Наркомпрос за волшебным фонарем для лекций, к зубному врачу. Комендант ценил мою работу по организации тюремной школы и устройству лекций. В его отчетах, вероятно, немало писалось о культурно-просветительной работе Новоспасского лагеря.

Теперь я была на подозрении. Я боялась писать дневник, боялась как делала это раньше, отправлять написанное в пустой посуде из-под передачи домой. Я стала искать место, где бы я могла хранить дневник в камере.

Один из кафелей с синими изразцами в лежанке расшатался. Я вынула его, положила листки и опять заделала.

— Что это вы все пишете? — спрашивала меня портниха Маня, сидевшая за воровство и недавно переведенная в нашу камеру.

— Вас описываю, — ответила я, смеясь.

Она ничего не сказала, но я чувствовала, что она заинтересовалась моим писанием. Мы боялись этой Мани, она была дружна с женой коменданта.

— Маня, что это? Какая красота! — воскликнула однажды армянка, когда Маня развернула узел с только что принесенной работой.

— Комендантской жене платье шью, — ответила Маня.

— Тоже сказала — жена!.. — возмутилась одна из женщин. — Таких-то жен у него... счет потеряешь, — и она с жадным любопытством потянулась к кровати, на которой Маня раскладывала великолепный, тяжелый бархат густо-лилового цвета.

Через несколько дней Маня сдала лиловое платье и принесла другую материю, еще лучше: превосходный, плотный белый с золотыми разводами шелк.

Вечером в комнату старосты вошла армянка с кусочком материи в руках.

— Смотрите. Из архиерейских саккосов шьет. Ей Богу, — взволнованно прошептала она.

Среди лоскутков, валявшихся наполу, она нашла золотой крест.

— Александра Федоровна, — спросила я старосту, когда мы остались с ней вдвоем, — вы знали, что комендант грабит монастырскую ризницу?

— Знала, — сказала она, — давно знала. Но что поделаешь? Все равно нынче, завтра разграбят. Да уж теперь и нет ничего. Знаете, какой крест спустил? Золотой, пять фунтов весу. А это уж так, остатки — архиерейская одежда осталась... Я, знаете, стараюсь об этих вещах не думать. Вот уже скоро два года, как я по тюрьмам мотаюсь. Сколько раз бывало люди волнуются, так же, как вы, вступаются за заключенных, думают, можно войну с администрацией вести. Напрасно это. Какой он ни есть зверь, но мы уже знаем, как с ним ладить. Ну, а начнешь с ним войну, либо его уберут, либо нет. А что если не уберут? Он озвереет так, что житья с ним не будет. Ну, а если сменят, может еще худшего пришлют. И верьте мне, какой бы он ни был вор, мерзавец, коли он член партии, не простят они вам этого... Никогда.

В комнату вошел странный, очень маленький человечек. Мальчишка? Нет! Женщина! Стриженые, черные, вьющиеся волосы, блестящие, как маслины глаза, мелкие черты лица, красная сатиновая на выпуск рубаха, кожаная распахнутая куртка, короткая черная юбка, высокие сапоги.

Русский костюм не гармонировал с типичным еврейским лицом. Она вошла в сопровождении коменданта, его помощника и девицы в европейском платье.

— Рабоче-крестьянская инспекция, — шепнула мне Александра Федоровна.

— Белье казенное? — спросила еврейка, повидимому главное лицо в комиссии.

— Свое, — ответила староста.

— Часто меняете? — обратилась она ко мне.

Я рассмеялась.

— И почему вы смеетесь? — спросила она сурово, сморщив маленькую мордочку. — Покажите-ка, — и она отвернула край одеяла на моей постели.

Я стояла не двигаясь и продолжала улыбаться . . . Решительным движением она стала подходить ко всем кроватям, откидывать одеяла и смотреть постельное белье.

— Чисто у вас, — сказала она.

— Политические, — пояснил комендант.

— Что же вы раньше не сказали? Ваша фамилия? — обратилась она ко мне.

— Толстая.

— А! Я потом зайду к вам.

Инспекция ушла в сопровождении следовавшей по пятам свиты, а я пошла в контору, где мне было поручено организовать перепись заключенных.

Мы еще не успели наладить работу, как в контору вошла комиссия. С тем же деловым, важным видом маленькое существо продолжало расспрашивать о порядках в лагере, и вдруг величественно, отчего я опять чуть не расхохоталась, махнула крошечной ручкой по направлению к своей свите.

— Прошу вас, товарищи, выйти, — сказала она, — я желаю наедине побеседовать с заключенными.

Почтительно склонившись, комендант, а за ним помощники вышли из комнаты.

— Ну-с, товарищи, — сказала она, когда в конторе остались одни заключенные, — я, — и она ткнула себя в красную сатиновую грудь указательным пальцем, — представитель рабоче-крестьянской инспекции с одной стороны, с другой я — член женотдела. Товарищи! Наше рабоче-крестьянское правительство очень озабочено тем, чтобы граждане рабочие, крестьяне, вообще, так сказать, трудящиеся, заблудившиеся еще, вероятно, под гнетом буржуазного правительства, просвещались бы в духе социализма. Товарищи! Вы все должны идти с нами в ногу. Все должны помогать делу советского строительства. Каждый из вас должен, выйдя на свободу, постараться стать в ряды пролетариата, борющегося за свободу трудящихся. Кто здесь в лагере занимается просвещением?

Молчание.

— Кто работает с неграмотными?

— Я.

— Товарищ Толстая?

— Да.

— А как вы ведете партийную работу?

— Никак.

— Почему?

— Не сочувствую.

— Вот как. Это интересно. Но мы с вами побеседуем после. А теперь, товарищи, я прошу вас просто рассказать, как вы здесь живете? Хорошо ли вас питают? Получаете ли вы казенную одежду, достаточно ли дров?

Заключенные молчали.

— Товарищи, я вас спрашиваю: никто не жалуется на питание? на плохое обращение начальства?

Зло меня взяло.

— К чему эти вопросы? — не выдержала я. — Неужели вы не понимаете, что заключенные молчат совсем не потому, что жаловаться не на что, а потому, что скажи кто-нибудь слово: или в карцере заморозят, на работах замучают, или подведут под такую статью, что и в живых не останешься.

— Товарищи! — воскликнула она снова. — Товарищ Толстая ошибается. Я отвечаю за вас, я, — и маленький указа-

тельный палец опять воткнулся в сатиновую рубаху, — говорите. Не бойтесь.

Заключенные молчали.

— Ну!..

— Как мы будем говорить, когда мы не знаем, что нам полагается, — сказала я, — дают нам суп из мороженых картофельных очисток, хлеба не хватает, одежду предлагают старую, грязную... А разве мы знаем, что нам полагается?

— Это правда? — обратилась инспекторша к заключенным.

— Чего там... конечно правильно, — послышались голоса, — масла сполна не получаем, в карцер за каждый пустяк сажают... сахара тоже недовес.

— Так. Так. Что же вы молчали, товарищи? А? Несознательность. Да.

Ревизия кончилась, инспекторша уехала. Заключенные трепетали.

Несколько дней подряд приезжали какие-то люди, ходили на кухню,расспрашивали, что-то писали. Раза два появлялась маленькая коммунистка в той же кожаной куртке, с кожаной фуражкой на голове. И каждый раз неизменно она заходила в нашу камеру.

— Товарщ Толстая! — сказала она мне однажды. — Хотите пойти в театр? Я скажу коменданту, чтобы он вас отпустил.

— Нет.

— Почему?

— Не пойду и только.

Иногда она пробовала говорить со мной на политические темы. Говорила она заученные фразы о советском рае, о развивающемся сознании пролетариата, о грядущей мировой революции. Мне было скучно, большей частью я молчала. Она радовалась, когда я не сдерживалась и отвечала.

Я посоветовала Дуне подать коммунистке прошение об освобождении. Жалко было глядеть на это несчастное, безобидное, кроткое создание, томящееся неизвестно за что. Прошение написали, переписали, Дуня поставила крестик

вместо подписи, кто-то за нее расписался и стали ждать коммунистку.

Через несколько дней она пришла.

— За что арестована? — спросила она, пробежав прошение глазами.

— Да хиба ж я знаю? Арестовали за что-то.

— Ну, ладно, давай, товарищ Дуня, твое прошение. Посмотрим, что можно будет сделать.

— Спасибо милая барышня.

— Я не барышня, а товарищ. Вы, товарищ Дуня, в школу ходите?

— Хожу.

— Ну, и прекрасно Выйдете из школы грамотной сознательной гражданкой. Может быть еще будете вместе с нами бороться за рабоче-крестьянскую власть, комиссаром будете . . .

Дуня смотрела на нее непонимающими наивными серыми глазами, но улыбалась, она была рада, что коммунистка взяла прошение.

— Такие у власти не бывают, — сказала я.

— Почему же это? — обратилась ко мне коммунистка, как всегда жадная до споров.

— Честна слишком.

— То есть, что вы хотите этим сказать?

— Ничего. Таким, как Дуня, место теперь в тюрьмах, в лагерях. У власти товарищи, гвардейские солдаты, с отстреленными указательными пальцами, грабители . . .

— Продолжайте, пожалуйста.

— . . . грабители русской исконной старины.

Я вышла в соседюю комнату, прикрыла дверь и быстро из-под изразца вытащила крест.

— Вот они, ваши честные работники из рядов пролетариата! — сказала я, бросая на стол лоскутик с крестом. — Вы когда-нибудь видели архиерейские одежды? Вот из этого комендант шьет платья своим женам, ограбляя монастырскую ризницу . . . Грабит заключенных, морит голодом, истязает . . .

Она слушала меня, широко раскрыв глаза, и вдруг вскочила.

— Дайте сюда.

Схватив лоскуток, она выбежала из комнаты.

Через некоторое время коменданта уволили. Я была спасена. Но староста была права: положение заключенных не улучшилось.

— Вставайте, Александра Львовна!

— А? Куда? Зачем?

Я открыла глаза, в комнате толпились кожаные куртки.

— Без разговоров! В театр.

— Почему так поздно? Я не хочу в театр, — пробормотала я.

— А вас и не спрашивают, гражданка, хотите вы или нет. Приказано.

— Обыск, — шепнула мне Александра Федоровна.

— Обыск? Опять? Почему же в театр?

— Ничего не знаю! Велено всем заключенным идти в театр. Лагерь оцеплен стражей.

— Что с собой брать? Деньги как?

— С собой берите, здесь все равно пропадут.

— А разве и здесь будут обыскивать?

— А как же? Затем и в театр всех загоняют, чтобы здесь дочиста перерыть...

«Как быть с дневником? — думала я, торопливо одеваясь. — Сжечь? Нет, жалко. Авось пронесет».

Выходим во двор, ярко освещенный факелами. Под деревьями между могильными памятниками вырисовываются кучки чекистов в остроконечных шапках. Они рассыпаны по всему лагерю. Шумят мотоциклетки, автомобили. Со всех сторон небольшими группами спешат заключенные в театр. В странном оцепенении, в полусне, я иду по двору. Мне кажется, что я никогда прежде не видела этого места, этих высоких деревьев, бросающих причудливые, нереальные тени, каменных глыб. «Должно быть так в аду», — думала я.

Театр был также оцеплен стражей. Нас впустили внутрь. Нереальность исчезла. Здание было набито битком, арестованные все прибывали.

На эстраде новый комендант и двое чекистов — женщина и мужчина. Женщина улыбалась. «Как она может?», —

подумала я. Со сна ли, с перепуга или просто от холода многие заключенные дрожали.

Люди на эстраде сидели за столом, пересмеивались, что-то писали. А заключенные ждали два, может быть три часа. Наконец стали вызывать. До меня очередь дошла только к утру.

— Толстая.

Сквозь толпу я протискалась на эстраду. Несколько вопросов: за что осуждены? чем занимаетесь, что у вас с собой? деньги? дайте сюда.

Женщина быстрыми ловкими пальцами шарила по телу, щупала волосы, чулки, выворачивала карманы. Каждое ее движение вызывало дрожь отвращения и надо было напречь все силы, чтобы не отшвырнуть гадину.

У выхода из театра меня ждали товарищи по камере. Нас вывели во двор и повели в околоток, но не направо, где была больничка, а налево, в изоляционную для сифилитиков. Грязь, вместо постелей голые нары. Комната была полна. Женщины сидели. Уголовные ругались и сквернословили.

Только к девяти часам привели обратно в камеру. Вещи наши были разбросаны по полу, постели перевернуты. Я бросилась к печке, подняла изразец, дневник лежал на месте.

Днем я зашла в театр. Весь пол был усеян мелко изорванной бумагой. А деньги наши пропали.

— Дали бы мне. Я бы спрятала, — хвасталась Жоржик, — у меня все до копеечки целы.

— А как же это ты?

— А очень просто. На то, мадам, и профессия.

Несколько человек приехали из автотранспорта Комиссариата Народного Продовольствия. Политических вызвали в контору и записывали их профессии: делопроизводитель, счетовод, чертежник . . .

— Ваша профессия? — спросили у меня.

Вот тебе и раз. Мне никогда и в голову не приходило, что у меня нет профессии. Чем я в жизни занималась? Редактирование, сельское хозяйство, организационная работа, кооперативы . . . Все не годится.

— Говорите что-нибудь, — шепнула мне армянка, — на свободу ведь отпустят.

— Машинистка, — крикнула я.

Записали и уехали, а мы забыли о них, как забывали многие другие посещения. Но вдруг, дней через десять, нас снова вызвали в контору.

— Собирайте вещи!

Я опрометью бросилась в камеру. Собрала вещи, простилась с товарками. У них были смущенные лица. Они были рады за меня, но я знала, что именно в эту минуту им было особенно грустно.

У ворот Новоспасского лагеря стоял большой зеленый грузовик. Симпатичный человек, усиленно старавшийся скрыть свое сочувствие к нам, приглашал садиться. Затарахтела машина. Нас подшвыривало, трясло, а мы глупо и радостно улыбались.

Нас привезли во двор, на углу Тверской и Газетного переулка, ввели в накуренную канцелярию. Мне дали истрепанную грязную машинку Ундервуд. Не успела я ее вычистить, как уже стали приносить бумаги: отношения, доклады, отчеты... Прежде я никогда ничего не переписывала, кроме сочинений отца. Канцелярские формы были мне незнакомы, учиться было не у кого. Одна из заключенных, назвавшаяся машинисткой, в ужасе прибежала ко мне, не зная, что делать. Ей также подвалили целую кучу бумаг, а она едва тюкала по клавишам одним пальцем. Пришлось помогать ей.

— Что вы делаете? — кричал на меня симпатичный человек, который оказался беспартийным инженером. — Ведь вы же даете на подпись безграмотное отношение.

— Да я же исправила орфографические ошибки.

— Но, ведь по содержанию это никуда не годится. Вы старайтесь уловить смысл и пишите по-своему, а он подмахнет. Ведь он же двух слов связать не может.

Со временем я научилась это делать и, получив бумагу от директора-коммуниста, составляла ее по-своему. С отчетами было хуже, я изнемогала от бесконечных цифр, никак не могла печатать столбиками, как полагалось, путала итоги. Бумаги приносили и из других отделов. Чем быстрее я

выполняла работу, тем больше мне подваливали бумаг. Теперь уже не трудились писать содержание, а просто кричали через комнату:

— Товарщ Толстая! В отдел снабжения выговор за задержку.

— Сейчас.

Я не могла понять, в чем дело. Другие машинистки работали до четырех часов, потом спокойно складывали работу и уходили. А я возвращалась домой каждый день около семи с мучительным сознанием, что не все переписала.

— Вы никогда не служили?

— Никогда.

— Оно и видно! Разве так можно. Дают бумагу, а вы отругивайтесь: и так много, вчерашняя работа осталась, подождите до завтра. А то им только повадку дай. Иной раз и бумажки-то не нужно, а он лезет.

В соседнем доме была огромная столовая Наркомпрода, где обедали служащие автотранспорта. Кормили нас по тогдашним временам хорошо. Денег за работу не платили, но давали паек: сахар, пшено, иногда мясо.

Отработав 8—9 часов в конторе, я шла домой, иногда совсем измученная работой, но счатливая сознанием, что иду «домой». Я видела друзей, родных. Один раз, забыв, что я на положении заключенной, пошла на Толстовский вечер. Выступал В. Ф. Булгаков. Как всегда, горячо и смело он говорил о моем отце, о насилиях большевиков, о смертных казнях, и вдруг, совершенно неожиданно, упомянул, что здесь, в зале, присутствует арестованная и находящаяся сейчас на принудительных работах дочь Толстого.

Через несколько дней зеленый грузовик снова отвез меня в Новоспасский лагерь. Прокурор республики Крыленко, узнав что меня командировали на принудительные работы, и что я присутствовала на Толстовском вечере, рассердился, велел меня немедленно водворить обратно в лагерь и держать там под «строжайшим надзором».

Я надеялась, что в лагерь мне возвращаться не придется, и новое заключение показалось мне особенно тяжким.

Многих в лагере уже не было, появились новые лица. Общее внимание теперь привлекала знаменитая мошенница,

баронесса фон-Штейн, по прозвищу «Сонька золотая ручка». В лагере она тотчас же прославилась, как замечательная гадальщица.

Только Жоржик отнеслась к ней с полным презрением.

— Сволочь лягавая! У Ильменевой браслет слизнула. Последнее дело, у своих воровать.

Даже политические ходили гадать.

— Не может быть, чтобы она была воровка, — говорили они, — такая важная дама, прекрасно одета, говорит на всех языках. А как гадает. Пойдите, Александра Львовна! Советуем вам...

Как-то вечером к нам в камеру вошла высокая дама в лиловом шелковом платье с пышными седыми волосами.

— Mademoiselle la Contesse, charmée de vous voir!

Я молчала угрюмо.

— I am so happy to meet you... Ich habe Ihren Vaters Bücher gelesen...

Она выпаливала фразу за фразой переходя с одного языка на другой, любезно улыбаясь. Но я продолжала молчать.

— Может быть вы разрешите вам погадать?

— Нет, спасибо. Простите меня, но я избегаю знакомиться в тюрьме.

Она пробормотала что-то по-французски и обратилась к моим товарищам по камере.

А между тем обо мне хлопотали. Маленькой коммунистке из рабоче-крестьянской инспекции непременно хотелось мне помочь, она говорила обо мне в ЦКП с Коллонтай.

— Вы же можете работать для нас, — говорила она мне, — и на свободе вы будете приносить гораздо больше пользы трудящимся.

Коллонтай вызвала меня к себе. Маленькая коммунистка сопровождала меня. Она суетилась, доставала пропуск в ЦКП. Она с беспокойством следила за впечатлением, которое я произвожу на Коллонтай.

А дней через десять после этого свидания она как ураган ворвалась к нам в камеру.

— Товарищ Толстая! Товарищ Толстая! У меня для вас что-то есть!

Черные глазки блестели больше обыкновенного, она прыгала по камере, смеялась, и видно было, что ее распирало от желания сообщить важную новость.

— Громадным большинством против одного голоса в ЦКП решено ходатайствовать перед ВЦИК-ом о вашем освобождении.

С другой стороны обо мне хлопотали крестьяне. Трое ходоков из Ясной Поляны и двух соседних деревень приехали в Москву к Калинину хлопотать за меня.

Сестра тоже была в Москве. И я просила отпустить меня на два часа в город.

Но сколько я ни просила, комендант не соглашался. Он был не злой человек, недаром носил очки и старался походить на интеллигента, но он получил распоряжение держать меня под строжайшим надзором и боялся.

— Товарищ комендант! Пожалуйста пустите. Я сегодня же вернусь.

Он пристально взглянул на меня.

— Нет, нельзя. Лицо у вас такое приметное... Очки. Из тысячи узнаешь. Нельзя.

Ни слова не сказав я вышла из конторы.

Через полчаса я пришла снова. На мне была Дунина сборчатая юбка, кофта, полушалок. Очки я сняла, брови собрала, подчернила, нарумянила губы и щеки.

— Куда лезешь? — крикнул комендант, когда я подошла к столу.

— К вашей милости, батюшка. Дозвольте слово молвить.

— Откуда ты?

— Не узнаете, товарщ комендант? — сказала я уже своим голосом. — Отпустите домой на часок, пожалуйста.

— Тьфу, чёрт. Это вы, товарищ Толстая? Ну, видно, делать нечего. В таком виде и сам прокурор республики вас не узнает. Но помните: в одиннадцать быть здесь и очков не надевать. Удивительное дело, как у вас лицо без очков меняется.

— Спасибо!

Было уже совсем темно. Идти надо было по набережной Москвы-реки. Кругом ни души. Вдруг быстрые шаги сзади.

— Эй, постой! Ай к милому бежишь?

За мной, запыхавшись, шел солдат.

— Давай знакомиться, что ли?

Я остановилась, как вкопанная и, надев на нос очки, грозно посмотрела на красноармейца.

— Вы не знаете, с кем имеете дело, товарищ. В милицию хотите?

— Виноват, товарищ, — пробормотал солдат и взял под козырек.

— Что за маскарад? — спросила сестра, когда я, наконец, добралась до дому.

— Погоди, дай краску смыть, тогда расскажу.

Крестьяне привезли прошение, подписанное Яснополянским, Телятинским и Грумонтским обществами.

В моей квартире пили чай с деревенским ситником и разговаривали. Мужики говорили деловито, спокойно, без тени сентиментального сочувствия. И только, когда кончили пить чай, самый молодой, Ваня, заметив, как я была голодна, завернул оставшийся ситник в бумагу.

— Возьмите с собой, Александра Львовна.

— Спасибо, Ваня!

И опять раскрашенная, без очков, я бежала по набережной к себе в лагерь, сжимая под мышкой половину ситника. И радость от свидания с сестрой и мужиками, радость от Ваниной ласковой улыбки была больше, чем от надежды на освобождение.

Через месяц меня выпустили.

ГЛАВА 23

КОЛЯ И ЖЕНЯ

Однажды в лагере я простудилась и пошла в околоток за аспирином. В коридоре меня остановила сиделка.

— Вы гражданка Толстая?

— Я.

— Вы в ЧК сидели?

— Сидела а вам какое дело?

Я не любила расспросов. Мы знали что за политическими следят и что можно нарваться на «наседку», поэтому избегали разговаривать с незнакомыми.

— А Ш. помните?

— Ш., вы знаете Ш! — воскликнула я, невольно меняя тон. — Где она? Как мне найти ее?

— Она расстреляна, — строго проговорила молодая девушка.

— Расстреляна?!!

— Да. Я сидела с ней вместе после вас, она рассказывала мне.

— А Коля, Коля где? Жив?

— Жив. Его выпустили.

— А где он сейчас? Адрес его есть у вас? Ради Бога, скажите мне.

— Они там же на старой квартире за рекой.

Сиделка оторвала кусочек бумаги и написала мне адрес, такой простой, несложный. И как это я тогда не посмотрела, не запомнила.

Ночью у меня был жар. Я лежала на жесткой койке и мне казалось что в камере душно, нечем дышать. Минутами я забывалась, но спать не могла. Кошмары мучили меня.

Расстреляна. Тучное тело застыло бесформенной массой. Чекисты в остроконечных шапках ворочают ее с боку на бок, ища бриллианты. Мелькнуло лицо. Пухлые щеки закаленели, маленький с правильно очерченными губами рот безобразно широко разинут, в диком ужасе застыли серые, стеклянные, глаза. Мертвая, белая рука беспомощно размахнулась и звонко стукнулась о каменный пол . . .

Невыносимо!

Я вскакиваю. Сбрасываю с себя одеяло. Все тело в испарине. Достаю из-под койки чемодан с бельем, надеваю чистую рубашку и снова ложусь.

«И за что же? — звучит у меня в ушах. — За что? Я ведь ничего не сказала» . . .

Стараюсь не думать, но ослабленная жаром воля не подчиняется. Мысли снова и снова возвращаются к ней.

«Кто мог это сделать? Кто? Человек? Такой же, как я, как она. Нет? Неправда. Человек не мог этого сделать. Дряб-

лую, старую, седую . . . в спину, в пухлую со складками спину???»

— Не . . . воз . . . мож . . . но!!! — громко вскрикнула я.

Соседка моя встрепенулась, проснулась.

— Что вы сказали? Плохо вам? Не спится?

— Да, если можно, дайте мне воды, пожалуйста.

Она встала, налила в большую эмалированную кружку воды и подала мне.

— Спасибо.

«Господи, она ляжет, заснет сейчас», — с ужасом думала я.

— Лепешечек, знаете ли, пресных напекла, сахара головного из сундучка достала . . .

Я не спала до утра. Когда рассвело, мне стало легче. Но я знала, что теперь уж не забуду их. Полковница и Коля вошли в меня навсегда, были связаны со мной страданиями этой ночи.

И вот я теперь снова на свободе. Я в своей квартире. Глиняный горшок все так же стоит в кухне на полке. Я написала Коле и Жене. Я их жду. И вот стучат, входит девушка лет двадцати и высокий, костлявый малый лет семнадцати, плохо вымытый, расстрепанный, бледный. Это он — Коля. Я смотрю на них так, как будто я их давно знаю. Женя одета бедно, но чисто, а Коля не умеет или не хочет прикрыть нищеты. В глаза бросаются штаны, бахромами болтающиеся по порыжевшим стоптанным башмакам, короткие рукава куртки, которые Коля тщетно старается натянуть.

— Вы Коля? — спрашиваю.

— Да.

— У вас документы есть?

Я задаю глупые, формальные вопросы, чтобы скрыть волнение, мне хочется схватить Колину громадную, грязную лапу и крепко, крепко пожать ее, но я боюсь своего волнения.

— Покажите мне свои документы, — продолжаю я.

Женя торопливо достает их из потертой сумочки. Я не смотрю на них, они мне не нужны. Я иду на кухню. На горшке с засохшим растением — пыль. Я смахиваю ее и бе-

режно вношу горшок в комнату. Они с недоумением смотрят на меня. Я вываливаю засохшую землю на стол, вынимаю и разворачиваю слипшуюся, потрескавшуюся клеенку...

— Вот, говорю, — Коля, ваша мама дала это для вас...

— Мамочка!..

— Да! Я не могла раньше... у меня отняли ваш адрес.

— Мамочка! Это ее вещи... ее. Вы!???

— Да, да. Мы с мамой внизу, а вы наверху, помните, в ЧК на Лубянке, вы еще сахар и селедку...

Я не могу больше говорить...

— Мамочка, мамочка... Вы знаете она... ее... — и он закрыл лицо руками.

Через несколько дней они снова зашли ко мне, беспомощные, жалкие.

— Видите ли, — говорила Женя, — наше положение сейчас такое незавидное, Коле надо одеться, он учится, мы решили продать...

Они точно извинялись передо мной.

— Да? Ну так что же? Конечно продайте!

— Да, но мы очень боимся... Не знаем к кому обратиться. Это так опасно, говорят за это расстреливают.

Я дала им адрес «надежного» спекулянта. Они повеселевшие, ободренные, ушли. Больше я их не видала.

ГЛАВА 24

КАЛИНИН

— Выпустили? Опять теперь начнете контрреволюцией заниматься?

— Не занималась и не буду Михаил Иванович!

Калинин посмотрел на меня испытующе.

— Ну расскажите, как наши заключения? Хороши? Дома отдыха, правда?

— Нет...

— Ну, вы избалованы очень! Привыкли жить в роскоши по барски... А представьте себе, как себя чувствует рабочий, пролетарий в такой обстановке с театром, библиотекой...

— Плохо, Михаил Иванович! Кормят впроголодь, камеры не отапливаются, обращаются жестоко... Да позвольте я вам расскажу...

— Но вы же сами, кажется, занимались просвещением в лагере, устраивали школу, лекции. Ничего подобного ведь не было в старых тюрьмах! Мы заботимся о том, чтобы из наших мест заключения выходили сознательные, грамотные люди...

Я пыталась возражать, рассказать всероссийскому старосте о тюремных порядках, но это было совершенно бесполезно.

— Ну, конечно, может быть и есть некоторые недочеты, но все таки наши места заключения нельзя сравнить ни с какими другими в мире!

Ему были неприятны мои возражения и не хотелось менять созданное им раз на всегда представление о лагерях и тюрьмах.

«Совсем, как старое правительство, — подумала я, — обманывают и себя и других! И как скоро этот полуграмотный человек, недавно вышедший из рабочей среды, усвоил психологию власть имущих.

— Ну, конечно, если и есть некоторые недочеты, то все же в общем и целом наши места заключения нельзя сравнить ни с какими другими в мире!

«Ни с какими другими в мире по жестокости, бесчеловечности, — думала я, но молчала. Мне часто приходилось обращаться к Калинину с просьбами, вытаскивать из тюрем ни в чем неповинных людей.

— Вот говорят, люди голодают, продовольствия нет, — продолжал староста, — на днях я решил сам проверить, пошел в столовую, тут же на Моховой, инкогнито, конечно. Так знаете ли, что мне подали? Растегаи, осетрину под белым соусом, и недорого...

Я засмеялась.

Опять неуверенный взгляд.

— Чему же вы смеетесь?

— Неужели вы серьезно думаете, Михаил Иванович, что вас не узнали? Ведь портреты ваши висят решительно всюду.

— Не думаю, — пробормотал он недовольно, — ну вот скажите, чем вы сами питаетесь? Что у вас на обед сегодня?

— Жареная картошка на рыбьем жире.

— А еще?

— Сегодня больше ничего. а иногда бывают щи, пшённая каша.

Я видела, что Калинину было неловко, что я вру.

— Гм . . . плоховато. Ну, чем могу служить?

Помню, раз Калинин был особенно приветлив и весел.

— Заходите, заходите! — сказал он, увидев меня в приемной, где я разговаривала с его секретаршей, прекрасно одетой, смуглой красавицей с пышной прической, отполированными ногтями и изысканными манерами.

— У меня сегодня ходоки из Сибири, славный народ!

Ему, видно, хотелось, чтобы я присутствовала при его разговоре с крестьянами. А крестьяне действительно были славные, спокойные, большие, бородатые в нагольных полушубках и валенках.

Обстоятельно, не торопясь мужики рассказали, как соседний совхоз оттягал у них луга, принадлежавшие обществу.

— И отцы, и деды владели этими лугами, — говорил пожилой мужик, — а теперь, что свобода открылась, отняли.

— Да, ну теперь перераспределение. Вы вот что скажите: покосы есть? У вас как там надел по душам или по дворам?

Калинин суетился. Вскакивал, присаживался на широкие ручки кресел, курил, перебивал крестьян, рисуясь, как мне показалось, знанием деревни, знанием мужицкой речи.

А я думала: «Вот и у яснополянских тоже отняли». После смерти отца около 800 десятин было передано крестьянам по его завещанию; пахотная земля осталась за крестьянскими обществами, а луга и леса отошли правительству, к Тульскому лесничеству.

История, рассказанная сибиряками, была обычная: невежественные, опьяненные властью коммунисты иногда посвоему толковали декреты, а иногда слишком точно их исполняли и творили беззакония на местах, — по выражению центра «искажали линию».

На этот раз «линия была выпрямлена», и просьба сибиряков о возвращении им лугов, уважена. Калинин был доволен. Ему приятна была благодарность сибиряков, сознание, что он сделал доброе, справедливое дело. Он был уверен, или может быть старался уверить себя, что исправленная им несправедливость была лишь случайностью, одним из тех недостатков механизма, которые так легко было изжить. И если бы кто-нибудь сказал, показал или доказал ему, как дважды два — четыре, что вся созданная советская машина основана на несправедливости и жестокости и что изжить воровство, террор, разврат, творящиеся по всей России, особенно в глухой провинции, невозможно, он поверить этому не мог бы, не посмел.

В этот день Калинин удовлетворил и мое ходатайство об облегчении участи политической заключенной, и, отдавши распоряжение красавице секретарше, отправился в общую приемную. Здесь люди стояли сплошной стеной. Калинин смешивался с толпой, подходил то к одному, то к другому, быстро, на ходу выслушивал просьбы, торопливо говорил что-то следовавшей за ним девице и опросив таким образом несколько человек, так же быстро уходил обратно в свой кабинет с тяжелыми кожаными креслами и громадным письменным столом, а посетители продолжали часами ждать следующего выхода.

— Если бы ваш отец был жив, как бы он радовался всему тому, что мы сделали для «рабочих масс»! — сказал мне как-то раз Калинин.

— Не думаю.

— То есть, как это так не думаете?!! — Калинин так и привскочил на кресле.

— Не думаю, — повторила я, почувствовав, что мне удалось взять именно тот тон, в котором только и было возможно разговаривать с большевиками,— тон преувеличенной искренности, резкости. Калинина как-будто и удивляло и забавляло то, что я смела ему возражать, он не привык к этому.

— Но разве ваш отец сам не боролся за рабочих и крестьян?

— Боролся. Но методы ваши: ссылки, отсутствие всякой свободы, преследование религии, смертные казни — все это было бы для него совершенно неприемлемо.

— Так ведь это же все временные меры... Ну а земля трудящимся, а восьмичасовой рабочий день, а...

— Хотите я вам правду скажу, Михаил Иванович, — перебила я его, чувствуя что я почти перешла границу того, что можно было говорить, и что Калинин вот-вот выйдет из себя, — если бы отец был жив, он снова написал бы: «Не могу молчать», а вы наверное посадили бы его в тюрьму за контрреволюцию!

Секретарша входила и выходила, напоминая старосте о делах, посетители ждали в приемной, а Калинин все бегал по комнате, курил, присаживался на угол письменного стола, опять вскакивал и никак не мог успокоиться. Мы проспорили полтора часа.

Калинин приезжал в Ясную Поляну, когда я сидела в тюрьме. Сестра показывала ему музей, отцовские комнаты, говорила о взглядах отца.

— Татьяна Львовна! — сказал он ей, выходя из кабинета. — Вы знаете, мне приходится подписывать смертные приговоры!

В 1922 году я пришла к Калинину хлопотать о семи священниках приговоренных к расстрелу. Это было во время изъятия ценностей из церквей, когда в некоторых местах выведенные из терпения прихожане встретили комсомольцев и красноармейцев камнями и не дали грабить церквей.. На это советская власть ответила страшным террором. Особенно пострадали священники. Самые стойкие и мужественные из них были расстреляны.

Профессор, сидевший в одной камере с приговоренными к расстрелу священниками, рассказывал мне о их последних днях.

Зная, что после того, как их расстреляют, некому будет похоронить их по православному обряду, священники соборовали друг друга, затем каждый из них ложился на койку и его отпевали, как покойника. Профессор не мог рассказывать этой сцены без слез. Вышел из тюрьмы другим челове-

ком: старым, разбитым, почти душевнобольным. Его спасла вера. Он сделался глубоко религиозным.

Не помню, что я говорила Калинину. Помню, что говорила много, спазмы давили горло. Стояли мы друг против друга в приемной.

Калинин хмурился и молчал.

— Вы не можете подписать смертного приговора! Не можете вы убить семь старых, совершенно неопасных вам, беззащитных людей!

— Что вы меня мучаете!? — вдруг воскликнул Калинин. Бесполезно! Я ничего не могу сделать. Почем вы знаете, может быть я только один и был против их расстрела! Я ничего не могу сделать!

ГЛАВА 25

ДЕКРЕТ

Судьба Ясной Поляны мучила меня непрестанно и в лагере. Усадьба постепенно разрушалась, хозяйство приходило в полный упадок. Широкий размах Оболенского, не желавшего считаться ни с какими советскими законами неизбежно привел бы к катастрофе. Первая же ревизия обнаружила бы целый ряд злоупотреблений — с точки зрения советского правительства, и кто знает, чем все это кончилось бы? Нас всех разогнали бы и что сталось бы тогда с усадьбой и старым домом?

В то время я еще наивно верила в возможность созидательной работы. Если бы Ясную Поляну удалось сделать культурным уголком, необходимым для населения и показательным для посетителей и иностранцев, то большевики сохранили бы ее? Нужно во что бы то ни стало добиться, чтобы дом был освобожден от обитателей, восстановлен в том виде, как он был в момент ухода отца из Ясной Поляны, леса же с могилой, парк — должны быть объявлены заповедником.

С этими, не вполне еще продуманными планами, я отправилась к Калинину в ВЦИК, надо было заручиться его принципиальным согласием. Ответ был благоприятный: «Подавайте проект, я поддержу».

Помощником моим в то время был пасынок сестры Сергей Сухотин. Его, также как и меня, только что выпустили из тюрьмы. После полного бездействия, предстоящая нам творческая работа, возможность созидания среди царящего кругом хаоса и разрушения — казалось почти чудом. И мы дали волю воображению: говорили часами, строили больницы, школы, народные дома, устраивали кооперативные организации, пускали из Москвы специальные поезда с экскурсиями, проводили дороги, заводили автомобили и тракторы. Казалось, что если наш проект декрета будет утвержден ВЦИК-ом — дело почти уже сделано. Трудность составления проекта заключалась в том, что надо было сделать его приемлемым для большевиков и не отступить от основных толстовских идей.

Наконец, 10-го июня 1921 года меня вызвали на заседание Президиума ВЦИК. В то время транспорт у меня был прекрасно налажен. Трамваи не ходили, извозчики были слишком дороги, а я разъезжала по Москве на велосипеде. Я свела велосипед с третьего этажа, прицепила к рулю портфель туго набитый бумагами и поехала в Кремль. В воротах остановили:

— Пропуск!

— Мне на заседание ВЦИК.

— Подождите, я позвоню. Ваши документы.

Я веду велосипед в гору. Под воротами опять пропуск. Мимо царя-пушки, царя-колокола, направо через площадь. Пусто, кое-где шагает красноармеец. Заседание в бывшем здании суда. В небольшой комнате, за длинным, покрытым красным сукном столом, сидят человек пятнадцать. На председательском месте Калинин. Накурено. Пустые стаканы с окурками и табачной золой на блюдцах.

Дело о Ясной Поляне, насколько помню, шло четырнадцатым. Сажусь у стены и жду. Дела решаются с молниеносной быстротой, на каждое тратится не больше трех-четырех минут.

«Наверное, дело о Ясной Поляне так быстро не решится», — думаю я, волнуясь и готовясь к бою. Но напрасно. Проект декрета излагается сжато и толково. Задаются два-три вопроса. Один из членов президиума предлагает в пункте треть-

ем, где говорится о назначении комиссара Ясной Поляны, заменить слово комиссар — хранителем.

— Это больше подходит к Ясной Поляне, — соглашается Калинин.

Привожу основные пункты Декрета Центрального Исполнительного Комитета:

Усадьба Ясная Поляна Крапивинского уезда, Тульской губернии, с домами, мебелью, парком, лугами, полями, лесами, садами объявляется собственностью РСФСР.

Музей усадьбы передается в ведение охраны памятников старины и искусства Народного Комиссариата по Просвещению.

Хранителю Музея-Усадьбы Ясная Поляна вменяется в обязанность сохранение дома и усадьбы в ее прежнем виде, восстанавливая все то, что пришло в упадок или изменено со смерти Л. Н. Толстого.

Хранителю вменяется в обязанность организовать культурно-просветительный центр в Ясной Поляне с школами, библиотекой, проводить лекции, беседы, спектакли, выставки, экскурсии и т. п.

Поля, огороды, луга, яблочные сады Ясной Поляны обрабатываются последователями Толстого под наблюдением Народного Комиссариата Земледелия по усовершенствованным методам с тем, чтобы хозяйство являлось опытно-показательным для посетителей Ясной Поляны и крестьян.

Хранитель Ясной Поляны имеет право «вето» на всякое решение Коммуны, если оно нарушит характер исторической или культурно-просветительной работы.

Меня назначили хранителем музея Ясная Поляна. Наступила новая эра.

ГЛАВА 26

ТОЛСТОВСКАЯ КОММУНА

— Эй, Володя! — кричали деревенские ребята длинному, рыжебородому толстовцу. — Колесо потерял.

Володя натягивал веревочные вожжи и останавливался среди горы.

Пегий мерин, расставив задние ноги, с трудом сдерживал тяжелую бочку с водой.

— Вы что-то хотите мне сказать?

— Колесо потерял! — уже менее уверенно повторялась избитая острота.

Володя растерянно оглядывался, а ребятам этого-то и надо было, они фыркали и радостно гоготали.

— Как есть ничего не умеют, — жаловался произведенный в вахтеры по штатам Главмузея бывший кучер Адриан Павлович, — едет Володя, дуга на сторону, того и гляди оглобля вывернется. Я говорю ему: «Володя, хоть бы гужи выровнял, разве можно, ведь этак ты лошадь изуродуешь!» А он мне: «А я и не знаю, Адриан Павлович, как их выравнивают, вы мне растолкуйте». Ну работники! Этот хошь безответный, а то есть такие дерзкие, слова не скажи!

Коммуна выбрала своим уполномоченным бывшего студента Вениамина Булгакова, * приглашенного в Музей в качестве научного сотрудника. Булгаков решительно ничего не понимал в сельском хозяйстве, но я вынуждена была согласиться на его кандидатуру, потому что среди собравшихся толстовцев, он был самый приличный и образованный.

Не было человека, который относился бы сочувственно к коммунарам. В глубине души скоро и я с ужасом убедилась в своей ошибке. Даже тетенька, и та не упускала случая, чтобы не задеть толстовцев.

— Вот Саша, все ты хорошо сделала, — говорила она, — а босяков этих напрасно пустила в Ясную Поляну, сама видишь, что напрасно. Все говорят, что они лодыри! И невоспитанные! Знаешь, вчера, когда вы все сидели в зале, прохожу я мимо «ремингтонной», вижу, кто-то лежит на кушетке. Я прошла к себе в комнату, вернулась, смотрю... ну, как его? Ты знаешь, мы еще с ним о Бетховене разговаривали...

— Не знаю, тетенька, кто же это?

— Ну как же так? Ты знаешь! Большой такой, красивый малый. Он еще просил Леночку ** с ним по-французски заниматься.

* Брат бывшего секретаря отца, Валентина Федоровича Булгакова.

** Елена Сергеевна Денисенко, дочь сестры отца Марии Николаевны Толстой.

— Валериан?

— Ну, да, да, Валериан! Я говорю: «Валериан, что с вами? Вы нездоровы?» А сама так пристально на него смотрю, думала он сконфузится. А он продолжает преспокойно лежать, закинув руки за голову: «Нет, — говорит, — Татьяна Андреевна, благодарю вас, я совершенно здоров, я... ме-ди-ти-рую». Ну тут я ужасно рассердилась и сказала ему, что если он хочет приходить в приличный дом, то не смеет валяться на диванах, да еще в присутствии старой, почтенной дамы!

Толстовцам жилось плохо. Чтобы поддержать их, некоторые из них были проведены по штатам Наркомпроса. Володя был зачислен учителем. Поэт Василий Андреевич, писавший бесконечные стихи в память моего отца — сторожем Музея. Он ходил около дома в тяжелом нагольном тулупе, любовался на созвездия и сочинял:

«Во Поляне ты родился
Милый, маленький такой».

Но несмотря на то, что многие из них считались работниками по просвещению и уполномоченный коммуной был научным сотрудником Музея, культурно-просветительная работа их нисколько не интересовала. Помню, как я огорчилась и рассердилась, когда на мою просьбу дать лошадей для перевозки библиотеки, пожертвованной Сережей Булыгиным * для Ясной Поляны, последовал отказ.

— Если бы заплатили нам, — говорил Гущин, — тогда другое дело...

Толстовцы заявляли, что они, также как «сам Толстой», презирают образование.

Между собой они тоже не ладили. Лучшие из них не преследовали никаких практических целей, отказывались и от пайка, и от службы, жили впроголодь, но таких крайних было мало — два-три — и они не уживались с основным ядром. Самым крайним был Виктор. Он пришел в Ясную Поляну пешком откуда-то с юга, свалился точно ангел с неба. Весь в белом, в белой широкой рубахе и белых штанах,

* Сергей Михайлович Булыгин — один из самых искренних последователей отца. Позднее углубился в изучение православия.

босиком, густые, длинные, тщательно расчесанные волосы по плечам, глаза синие, как южное небо. Сначала все ему обрадовались. Этот был самый настоящий и толстовцы немедленно приняли его в свою коммуну.

Виктор не проповедывал, не навязывал никому своих мыслей, но встречая его горящий взгляд, делалось неловко за свою грубость, практичность, невоздержанность, за всю жизнь... Достаточно было взглянуть на этого 19-летнего юношу, чтобы понять, что он отказался от всего мирского. Он напоминал мне Сережу Попова,* который верил в братство не только всех людей, но и всего живого, не признавал государства, денег, документов, ходил по свету, искал добрых дел полуголодный, полуодетый, но весь горел внутренним огнем. Может быть это был один из тех толстовцев, которые, не успев еще испытать на себе всех соблазнов, страданий жизни, с юношеским пылом решили сразу достигнуть Царства Божия на земле. Сколько я перевидала таких! И сколько таких юношей бросались позднее в другие крайности, точно наверстывая потерянное время, предаваясь всевозможным соблазнам.

Что сталось позднее с Виктором, удержался ли он на той высоте, куда взметнула его его пылкая, чистая душа — не знаю. Я потеряла его из вида. Но тогда он не то что нравился мне, нет. Много было в нем излишней резкости, прямолинейности, угловатости какой-то. Меня резала иногда трафаретность его слов, но я чувствовала искренний порыв его вверх, к добру, и не могла не уважать его.

Как сейчас его вижу. Мелькает среди густой заросли сада его белая фигура. Он идет быстро, быстро, острым углом плеча пробиваясь сквозь кустарники. Внезапно он видит людей и резко останавливается, точно осаживается назад. Он неподвижен, вдохновенные глаза смотрят вверх, яркие блики солнца играют в золотых волосах. Что — молится? или просто — сторонится людей? Боится греха?

---

* Один из самых ярких, крайних последователей отца, сидевший в тюрьмах за свои убеждения, как при старом, так и при советском правительствах.

Практичные толстовцы, желающие получше устроиться, получить паек, жалование, извлечь пользу из хозяйства, скоро не взлюбили Виктора, за то что он не хотел исполнять некоторых работ. Когда толстовцы шли на огород обирать червей с капусты, Виктор не шел.

— Я не могу убивать ничего живого, — говорил он.

Часто вместо работы он уходил в лес.

— Куда же ты, Виктор? — спрашивали толстовцы.

— Я должен остаться один с природой, — отвечал он и быстрыми шагами уходил.

— Виктор, жалуются на тебя, плохо работаешь.

Он серьезно, с упреком смотрел на меня.

— Сестра Александра, — говорил он мне, — я согласен работать для братьев, но я не могу приносить в жертву свою духовную сущность грубым интересам плоти. Есть минуты, когда я должен быть в природе с Богом.

— Ну, знаешь, — возражал ему практичный тульский малый, Никита Гущин, — ты в природе, с Богом, а мы за тебя работай, это уж не по братски, а по свински выходит.

И Виктор ушел.

Гущина особенно не любили. Он был груб, с преувеличенной мужицкой простотой всем говорил «ты», ходил грязный, нечесанный, работать не любил, но за то любил хвастать знанием деревенской жизни и хозяйства, всем всегда давал советы и больше всего любил кататься на гнедом, выездном жеребце Османе. Сердце мое обливалось кровью, когда Гущин пригонял Османа в мыле, тяжело носящего боками.

— Зачем ты так скоро ездишь? — говорила я с упреком.

— Ну, знаешь, — отвечал он тоном, не допускающим возражения, — лошадь прогреть надо, ей это пользительно.

Но больше всего презирали толстовцев старые служащие.

— Ну и напустили обормотов! Прости Господи! — ворчала кривая кухарка Николаевна. — Ведь надо ж было этакой дряни полон двор набрать! И где их только взяли? Вот хушь Гущин . . .

— Ну что Гущин, — обрывала я обычно такие разговоры, — что Гущин? Хороший малый, идейный . . .

— Гущин-то хороший? О, Господи! Гущин?! Гущин-то он Гущин, да не туда пущен! Идет, не стучась прямо к Татьяне Львовне в комнату, разваливается в кресле! Мужик! Хам! «Хороший» . . . О, Господи!

Кривая Николаевна была права.

Я с ужасом вспоминаю сейчас эти несколько месяцев совместной с толстовцами жизни. Работать они или не умели или не хотели, указаний моих не слушались. Дело у них не спорилось, все плыло из рук. Поедут за водой — бочку опрокинут, начнут навоз возить — лошадей в снегу утопят, в коровнике, конюшне — везде грязь, беспорядок.

Но самое тяжелое было чувство непростоты, неловкости, которую я неизменно испытывала с так называемыми толстовцами. Исчезали простые естественные слова, и чем бóльшее усилие я делала, чтобы найти эти искренние слова, тем фальшивее они становились.

Где-то таилась ложь. В ком? Во мне? В них?

Но я верила им тогда. Мне и в голову не пришло бы усумниться в искренности Володи Ловягина, застрявшего в Ясной Поляне на долгие годы. Я осудила Володю за трусость, но не за предательство, когда вдруг, будучи назначен сельским библиотекарем, он сжег все книги Сережи Булыгина: жития святых, отцовские религиозные философские книги и многое другое. Я не представляла себе, что эти книги менее дороги Володе, чем мне. Я считала Володю неумным, слабым человеком, но не могла предположить, что он вступит в партию и будет на нас доносить властям, как это случилось позднее.

Я знала, что Никитка Гущин практичный, пронырливый малый, но чтобы Гущин тотчас же после ухода из Ясной Поляны заделался ярым коммунистом — я не ожидала. Я была поражена, когда встретила Гущина в Тульском Губисполкоме, причесанного, припомаженного, в новеньком с иголочки костюмчике, в лаковых сапогах.

— Гущин?!

— Не узнали? Я знаешь, теперь в Губисполкоме работаю.

— Да? В качестве кого же?

— Рабюр. Статейки пишу для Тульского Коммунара. Загляну как-нибудь и к вам.

Тон его был снисходительно-покровительственный.

К счастью я быстро поняла тогда всю глупость организации этой псевдотолстовской коммуны. Я посоветовалась со служащими, и так как надо было все-таки создавать какую-то коллективную организацию, и на жалованиях Наркомпроса прожить было невозможно, мы решили организовать сельскохозяйственную артель служащих.

«Братья» уехали. Только несколько человек застряли. В общежитии остались пустые, грязные койки, разорванные бумажки, да на стене моя каррикатура: я пускаю мыльные пузыри, пузыри — школа, музей, больница, народная библиотека разлетаются во все стороны и лопаются.

ГЛАВА 27

ОСЕТРЫ

Теперь мне кажется непонятным, зачем нам в Ясной Поляне понадобилась Толстовская коммуна. Должно быть надо было противопоставить управлению Оболенского коллективную организацию. Возможно, что именно Толстовская коммуна в то время послужила некоторым буфером против марксистского влияния на Ясную Поляну, и это было необходимым этапом для перехода к более осмысленной организации.

Конечно, можно было не спеша подобрать дельных толстовцев и наладить работу, но беда заключалась в том, что надо было спешить, так как совхоз уничтожался и некому было передать хозяйство.

Вот в это время и появился Митрофан. Никто не знал его фамилии, отчества, и все так просто и звали его Митрофаном. Откуда он взялся, кто порекомендовал его — не помню. Говорили, что он сильный, но своевольный человек, прекрасный организатор, что он раньше устраивал, и очень удачно, толстовские коммуны. Такого-то нам и надо было. Митрофан обещал набрать «хороших ребят» в коммуну и по молчаливому согласию решено было сделать его уполномоченным коммуны.

Митрофан был мне антипатичен, но я сама себя убеждала, что была несправедлива. «Глупо, — думала я, — ведь мне не нравится в нем чисто внешнее: не нравится, что такой здоровый большой мужик говорит тонким, сдобным с мягким украинским акцентом голосом, не нравится отлив маслянистых глаз, не смешное, по привычке, похохатывание».

С первых же шагов Митрофан разочаровал нас. В то время, как мы с Сухотиным разрывались на части, Митрофан был безучастен к нашим делам, только жаловался на трудности создавшегося положения.

А трудностей, действительно, было много. Население Ясной Поляны встретило новые порядки враждебно. Оболенский с семьей, часть его помощников должны были потерять должности и уехать. Яснополянские крестьяне лишились обрабатываемой ими исполу земли.

23-го апреля того же года вышел Ленинский декрет о новой экономической политике. Выдача пайков от государства должна была прекратиться. А между тем деньги были обесценены, жалования до смешного маленькие. Яснополянцы волновались и во всем, разумеется, обвиняли меня: «не успела, мол, Александра Львовна взять хозяйство в свои руки, как нас всех лишили пайка. Вспоминали батюшку-благодетеля, при котором даже конфеты-монпансье, шоколад и туалетное мыло было. Многие жалели Оболенского.

Встречая злобные взгляды, насмешки, угрозы, Митрофан струсил и даже уверял меня, что преданные Оболенскому молодые люди хотят его убить. Он сидел на запоре в павильоне в саду, прозванном Булгаковым виллой Торо, и никуда не ходил.

То и дело приходилось ездить в Москву. Надо было закончить все формальности в Наркомпросе и Наркомземе, Найти новых сотрудников, достать денег на организацию школы. А тут случилась еще неожиданная беда. Вернувшись из Москвы как-то в начале августа, я узнала, что весь урожай: сено, рожь, овес — проданы старым управлением. Не только в амбаре, но и в полях — все было чисто. И я осталась с полной усадьбой людей и животных без какой-либо возможности их прокормить.

Обострять отношения с прежней администрацией не хотелось, и так преданная Оболенскому молодежь держалась вызывающе. Митрофан даже уверял, что когда он пошел вечером за яблоками — в него стреляли. Что было делать? Я чувствовала, что надо было как можно скорее налаживать хозяйство, но с другой стороны нельзя было и откладывать вопроса о продовольствии.

Верхние Торговые ряды. Полупустые, холодные, грязные магазины, конторы. Кое-где копошатся люди, точно мародеры, хозяйничающие в захваченном городе. Тыкаюсь в двери, на дверях наставлены бесконечные номера.

— Нет, нет, не туда попали, товарищ, третий ряд налево. Номер .... Там и спросите товарища Халатова.

Наконец, нашла.

Армянское, serовато-матовое лицо, громадные, с поволокой черные, бараньи глаза, правильно очерченный рот, длинные черные волосы, выбивающиеся из-под расшитой фески и кудрями рассыпающиеся по плечам, черная бархатная блуза (почему-то подумалось: наверное такая была у Оскара Уайльда). Дети обычно спрашивают про таких: «Мама, это что — человек, или нарочно?»

Но это было совсем не нарочно, а человек, кормивший, или долженствующий кормить всю Россию: Народный Комиссар по продовольствию, товарищ Халатов.

— Вы ведь знаете, — сказал он мягко, — что все государственные учреждения переходят теперь на самоокупаемость, пайки выдаваться больше не будут и Народный Комиссариат по продовольствию будет ликвидирован. Но у нас есть небольшие остатки и мы можем вам кое-что выдать.

Он взял карандаш.

— Ну, что вам нужно? Муки, сахара, круп? Фасоли американской хотите?

— Спасибо. А еще соль нам очень нужна, капусты много, а квасить нечем.

— Соли? Нет, соли дать не могу, нету ее у нас. А вот что: осетров хотите?

— Осетров?! — я посмотрела на него с изумлением. Если бы он предложил мне горсть золотых, я, вероятно, удивилась бы не меньше.

Он усмехнулся.

— Ну да, осетров, свежих осетров, хотите?

Сухотин меня ждал.

— Ну что? Получила что-нибудь?

— Два вагона разного продовольствия, — ответила я с гордостью, — и с десяток осетров с меня ростом в придачу!

Теперь надо было хлопотать о получении вагонов для перевозки, и я опять пошла к Калинину. Слова «пошла к Калинину» «пошла к Халатову» звучат легко и просто. На самом же деле проникнуть к комиссарам было трудно. Приходилось несколько раз звонить секретарям, получать пропуски, иногда ждать днями, неделями. Советские сановники часто уезжали в командировки, заседания сменялись заседаниями. Иногда просто не хотели принимать. В этот приезд мне все удавалось легко: Калинин меня принял.

— Ну как дела в Ясной Поляне?

Я рассказала ему про затруднение с продовольствием и как Халатов нас выручил.

— Вот только соли не дал . . .

— Ну этой беде я кажется смогу помочь, — сказал староста, — недавно ездил на юг, прихватил с собой на всякий случай вагон соли. Погодите-ка.

Он взял клочок бумаги, подумал и написал: «Выдать А. Л. Толстой для Ясной Поляны 20 пудов соли».

— Хватит?

— Хватит, спасибо!

Так и велась у нас эта соль года три — чистая, белая, нигде нельзя было такой достать, и называлась она Калининской.

— Ну как коммуна ваша? Работают?

— Да нет еще, уполномоченный наш как-будто немного растерялся . . .

— Простите меня, — вдруг неожиданно буркнул председатель ВЦИК'а, — связались вы с ними, а ведь сволочь эти толстовцы, мягкотелые.

Я молчала. Ни поддерживать, ни спорить с ним мне не хотелось.

От Калинина я поехала в Наркомпуть к Рязанскому вокзалу хлопотать о вагонах. Все было так сложно и трудно. Наконец все было устроено и мы погрузились на Москве товарной. В то время воровство на железных дорогах было отчаянное. Ухитрялись разворовывать даже запломбированные вагоны. И мы с Сухотиным решили сами провожать свой драгоценный груз до Ясной Поляны. С нами поехала подруга моей племянницы 15-летняя дочь профессора Грузинского.

Тронулись мы из Москвы, доехали до Люблина и стали. Заснули на мешках с фасолью, проснулись утром — стоим. Пошли к начальнику станции. К вечеру обещал отправить. Распороли мешок с фасолью, на станции сварили, пообедали, пошли гулять, выкупались. Легли спать, на утро проснулись, опять стоим в Люблине, уже на запасном пути. Делать нечего. С первым встречным поездом я поехала обратно в Москву в Наркомпуть. С трудом добилась начальства. И каких только доводов я не приводила, прося отправить нас как можно скорее: поминала и Калинина, и Халатова, и осетров. Отсюда меня направили в управление Московско-Курской железной дороги, потом еще куда-то . . . Мы двинулись только на третий день к вечеру. Доехали до Серпухова, опять остановка. Какие-то коммунисты пробовали аэродрезину между Серпуховым и Тулой, разбились и путь оказался загроможденным. В вагоне духота. Подумали мы с Сережей, засучили рукава и начали осетров изнутри натирать Калининской солью. Полдня работали, руки разъело в кровь. Осетров то и дело нюхали, ничего, не пахнут.

Должна сознаться, что в этой фантастической обстановке, когда армянин в расшитой феске распоряжался судьбами русского народа, глава правительства прихватывал с собой на всякий случай вагон соли, а люди ездили в товарных вагонах медленее, чем в старину на долгих, меня увлекало спортивное чувтство — желание во что бы то ни стало достать, добиться . . .

Мы приехали в Ясную Поляну на восьмой день измученные, но торжествующие. Никакой подвиг не поднял бы

моего авторитета в глазах служащих так, как эти два вагона с продовольствием! Особенно, разумеется, поразили всех громадные, чуть ли не в сажень длиной, осетры. Никто и не подозревал, что осетры еще существуют, что простые смертные могут их есть.

— Вот вам! — говорила моя постоянная заступница тетенька Татьяна Андреевна. — Разве я была не права? Ведь привезла? А осетрина-то? Осетрины-то вы и при батюшке-благодетеле во сне не видели!

Теперь, когда вопрос с продовольствием был улажен, надо было срочно заняться организацией коммуны.

Но тут случилась новая беда. Слабые нервы толстовца не выдержали. Не дождавшись начала деятельности, уполномоченный коммуны исчез. Когда? Куда ушел Митрофан? Никто не заметил. Он исчез, пропал, точно в воду канул.

ГЛАВА 28

СКОТНЫЙ

За несколько лет до революции я писала предводителю Крапивенского уезда о том, что необходимо в Ясной Поляне открыть земскую школу. Он ответил мне любезно, но решительно, что не видит необходимости в другой школе. В Ясной Поляне имеется двухклассное церковное училище, которое и останется там на вечные времена.

Революция застала в этом убогом учреждении двух сестер учительниц, Таичку и Шурочку. Школа автоматически переименовалась в школу УОНО, * а несколько позднее перешла в мое ведение вместе с сестрами.

В то время новых учебников еще не было, и Таички, как их называли, выпустив из своей программы Закон Божий, продолжали учить по старому, и плохо.

Я долго ломала голову, придумывала, где бы устроить школу и наконец решила приспособить в усадьбе часть зда-

* Уездный отдел народного образования.

ния, которое прежде называлось «скотным», а потом было переименованно в дом Волконского.

С тех пор как я себя помню, в средней части этого здания стояли коровы, в грязных, темных закутах ютились телята, свиньи, овцы. В левом крыле, на юго-восточную сторону, жили рабочие, а напротив через земляные сени была прачешная. Здесь, бывало, с утра до вечера стирала курчавая веснущатая прачка Варя, жена Адриана Павловича. Машин она не признавала, портила их и уверяла, что руками работать лучше. Действительно, каким-то чудом она справлялась с грудами белья, которое пудами подвозилось из большого дома. И белье всегда было чистое, громадные белые скатерти и салфетки накрахмалены.

Помещение было ужасное: не было ни стоков для воды, ни вентиляторов. Вода выхлестывалась прямо на пол: сырость, слякоть, густой синий пар стоял как в бане.

В правом крыле была квартира приказчика, а напротив молочная, до сих пор сохранившая название «мастерской». Здесь, в былые годы, сестра Татьяна вместе с Репиным, Ге, Пастернаком, Касаткиным и другими художниками занималась живописью. Здесь же в мастерской долгое время стояла картина дедушки Ге: Христос и разбойники.

В мезонине, над коровником, в который можно было попасть только по наружной лестнице и где не переводилось множество отъевшихся жирных крыс, был амбар.

Это здание было построено дедом отца, Николаем Сергеевичем Волконским. Говорили, что у него здесь была ткацкая и прядильная фабрика и работали в ней крепостные. Это здание, выстроеное якобы знаменитым итальянским архитектором, считалось самым старым в Ясной Поляне.

Я с детства любила скотный. Он был необыкновенный. От его толстых каменных стен, широкого фундамента белого камня, на два аршина вросшего в землю, выступающих крыльев, подвалов с круглыми входами, как в склепах, мезонина с широкими итальянскими окнами, веяло давно прошедшими годами, которые по рассказам были так близки нам . . .

Помню, как мы, бывало, приезжали из Москвы в Ясную Поляну. Скорый поезд пролетал, не останавливаясь, мимо

станции Козловки-Засеки (теперь Ясная Поляна), а мы с Ваничкой прилипали носами к окнам и ждали. Вот кончился лес, перед глазами вырастал крутой, зеленый бугор. Задерживалось дыхание: еще одна, две, три секунды . . . бугор постепенно снижался и поезд вылетал на простор. Перед нами открывалось широкое поле, а там, вдали, в самом конце — Ясная. Большой дом и флигель прятались в зелени парка, а растянутый, облупленный скотный был виден, как на ладони.

— Мама! Няня! Смотрите!

А они заняты пустяками, собирают какие-то вещи и даже и не думают смотреть.

Мы дергаем их за платья.

— Господи! Да смотрите же скорей! Ясная!

Еще секунда и скрылись зеленые крыши и милый, старый, такой величественный и красивый издали скотный. Опять насыпь и ничего не видно.

Сейчас мне кажется непонятным, как могли это великолепное здание довести до такой степени разрушения. Я не помню, чтобы его ремонтировали. Впрочем, один раз, когда ураганом, точно с коробки сардинок закрутило железо, оборвало и понесло по двору, пришлось перекрывать и перекрашивать крышу.

Штукатурка облупилась, позеленели и замшились обнаженные кирпичи, из потрескавшегося фундамента лезли крапива и бузина. Коровий навоз сваливался перед фасадом в громадную пологую яму. За зиму вырастала гора, в которой рылись разномастные куры, а весной увозили навоз и яма наполнялась вонючей жижей.

В этом здании и зародилась новая Яснополянская школа. Сначала в бывшей рабочей кухне кое-как подправили полы, подперли столбами свисавшие, сгнившие тяжелые балки на потолке, поставили столы и скамейки и бывший толстовец-коммунар, Володя Ловягин, стал учить ребят.

Володя учил плохо, и я пригласила двух преподавателей, окончивших Тульское техническое училище. Один из них специалист столяр, другой — слесарь. Оба крестьяне, несомненно социалисты, но называли себя толстовцами. Они явились в Ясной Поляне еще раньше, записались в коммуну,

но скоро разошлись с ней. Они возмущались бесхозяйственностью толстовцев, толстовцы же презирали их за расчетливость.

Тульские приятели оказались ловкими, трудоспособными людьми. Мы сейчас же приняли человек двадцать яснополянских ребят-подростков в школу, и мастера с учениками приступили к ремонту. Часть коров перевели на ворок, вычистили навоз, настлали деревянные полы, сделали рамы, двери, и стали учить ребят ремеслу и грамоте.

Мастерские сразу пришлись по душе крестьянам. Ребята повалили в усадьбу, отбоя не было. В мастерские просились не только яснополянские, но из дальних деревень, верст за 10-15. Мы не могли расширяться. У нас не было ни учителей, ни оборудования, ни помещений. Несколько раз я обращалась в Наркомпрос, и только после многих напоминаний к нам наконец командировали известного в Москве старого педагога. Он должен был «обследовать» Ясную Поляну и доложить начальству о наших начинаниях.

Я повела его в мастерскую через скотный двор. Старик неуверенно, в суконных дамских с пряжками ботиках шагал по выбитому, каменному полу, осторожно ступая через едко пахнущие навозные лужи, мимо спокойно пережевывавших коров. Увидя грузного швицкого быка, свирепо косящегося на нас выпуклым глазом, старик остановился.

— Не бойтесь, он привязан.

— Я думал, что мы идем в школу?

— Да.

— Но это больше похоже на скотный двор?

— Сейчас, налево, пожалуйста.

И мы вошли в светлую, с широкими с обеих сторон окнами, чистыми выбеленными стенами, комнату.

Работа кипела. Ребята строгали, стучали молотками, пилили; пол был засыпан пахнущими сосной стружками. Столяр-инструктор, большой человек с рыжеватой бородкой, в сапогах и русской рубахе, сейчас же завладел педагогом и, захлебываясь, с увлечением стал развивать перед ним план нашей будущей организации.

— Мастерские, — говорил он, — должны научить ребят столярничать и плотничать. При нашем малом наделе кре-

стьянам, у которых несколько сыновей, в хозяйстве нечего делать. Если же ребята, окончившие мастерские, желают остаться дома, то они должны уметь чинить сельскохозяйственные орудия: плуги, сохи, телеги, а кроме того понемногу улучшить свою крестьянскую обстановку: делать для себя рамы, двери, мебель — комоды, стулья, столы. Кругом Ясной Поляны леса: казенная Засека, дарственный лес, * и что же? Весь этот превосходный поделочный материал сжигается на дрова.

Старый педагог сочувственно кивал тяжелой, лохматой головой.

Но, странное дело, мастерские, сразу влившиеся в жизнь населения, имевшие такой успех среди ребят и родителей, не встретили сочувствия центра. Ни с одним учреждением мне не пришлось столько хлопотать, как с ними. Почему-то центр их не признал и мне трудно было получать на них кредиты. Позднее они перешли на самоокупаемость, брали заказы от школ, музея, сотрудников и существовали на основе «хозрасчета».

ГЛАВА 29

АРТЕЛЬ

Солнце греет как летом. Деревянные полозья тяжело скребут по последнему снегу, перемешанному с навозом. Вокруг парников уже обтаяло, из-под снега пучками лезет бурая крапива. Вдали, в поле, слышен неумолчный звон жаворонков.

В правой руке у меня вожжи, я заворачиваю, пячу лошадь, а левой, ухватившись за грядку, опрокидываю навоз.

Осман непослушен, плохо стоит, капризно бьет тяжелым копытом, разбивая тонкую корочку льда и обдавая меня фонтаном ледяных брызг. Он оглядывается то вправо, то влево на подъезжающих лошадей, высоко задирает тяжелую, с черной густой гривой, голову и, дрожа ноздрями, за-

* После смерти отца переданный мной, по его завещанию, крестьянам.

ливисто ржет. Он не привык ходить с возом и, когда я поворачиваю к конюшне, играет и тянет на вожжах.

Я ужасно боюсь, что работаю хуже других, стараюсь захватить самые большие пласты навоза, скорее наложить. Как председателю артели надо подавать пример. Мне нетрудно, скорее весело работать, но с бывшими служащими не просто.

— Да вы не утомляйтесь очень-то, ваше сиятельство, — говорит Адриан Павлович, * — небось у вас дома дела поважнее найдутся, а мы тут . . .

— Опять, Адриан Павлович! Ну сколько раз я вам говорила, — перебиваю я его, делая вид, что сержусь, с трудом выжимая из себя «вам» вместо привычного «ты», — сиятельств больше нет. Ну что если большевики услышат? Ведь обоих нас — и вас и меня в тюрьму упекут!

— Виноват, ваше . . . Александра Львовна! Никак не могу привыкнуть!

— Эй, Петр Петрович, ** — кричали девки, — смотри живот не надорви!

Слабые белые руки бухгалтера, всю жизнь выводившие цифры, дрожали от напряжения, но он только посмеивался и храбро тащил тяжелые носилки с навозом.

Приходил помогать и Илья Васильевич. ***

— Ну чего пришел? Ступай уж, ступай на печку! — говорили ему артельщики. — Без тебя управимся.

Но хилый худой старик потихоньку копался в земле, застенчиво улыбаясь и никого не слушая. Он и его жена Афанасьевна были тоже членами артели и старались отработать за молоко и паек, которые получали с хозяйства.

Высокий, худощавый, нерусского происхождения садовник не работал, считая работу ниже своего достоинства, а только руководил нами, делая вежливые указания и явно предпочитая иметь дело с некультурными рабочими.

---

* Бывший кучер. Он отвозил отца на станцию, когда отец навсегда ушел из Ясной Поляны. После революции Андриан Павлович был мной проведен вахтером по Музею-Усадьбе Ясная Поляна.

** Все имена новых служащих мною переделаны.

*** Илья Васильевич Сидорков, служивший моему отцу до момента его ухода. После революции проведенный мной смотрителем дома и музея Ясная Поляна.

В этот период революции — до 1924 года, пока нэп не вошел в силу, артель была нам совершенно необходима. Все члены артели знали, что если мы не будем работать, зимой нечего будет есть. Это спаивало артельщиков. Деньги ничего не стоили; на жалование, которое мы получали, как служащие музея, ничего, кроме спичек, купить было нельзя.

Работали охотно и дружно. Всё удавалось нам в это лето. Одно дело сменялось другим. С огорода перешли в поле, сажали картошку, сеяли кормовую свеклу, овес, клевер. Мы улучшили уход за скотиной, коровы стали давать больше молока.

В артель вошли все служащие школы и музея и четыре деревенские девушки, много лет работавшие на усадьбе. Когда закрылась на лето школа, дочери нашего приходского священника, учительницы Таичка и Шурочка, перешли на работу в хозяйстве. Младшая, Шурочка, здоровая и красивая девушка с тяжелой пепельной косой и ласковыми голубыми глазами, работала по-настоящему; она всегда, бывало, помогала отцу Тихону в хозяйстве, а старшая, Таичка, худенькая, с темными волнистыми волосами, крошечным, пуговкой, носиком, на котором непрочно торчало пенснэ, с капризным голоском и кокетливым вздергиванием головки, постоянно делала не то, что надо было: ходила с лопатой и граблями, как с зонтиком, попадала всем под руку, падала, боялась коров и лошадей и всегда с ней случались самые необыкновенные вещи.

Метали большой стог клевера. Подъезжаю с возом, слышу страшные истерические взвизги и бешенный хохот артельщиков, а в воздух взлетает что-то легкое, воздушное, голубое.

— Довольно, довольно, я упаду! — кричала Таичка, а ребята то опускали, то подымали ее журавлем. Увидали меня, сконфузились, опустили.

Всем хотелось дразнить Таичку; она обижалась, но всегда лезла всем на глаза. Один раз, когда вязали рожь, вдруг услыхали страшные вопли. Таичка махала руками, кричала, плакала.

— Помогите, помогите!

Мы бросили работу и побежали к ней. Она каталсь по земле, рвала на себе волосы, смешно взмахивая руками. Девки хохотали. Только Адриан Павлович отнесся серьезно.

— Ну чего это вы, Таисия Тихоновна, встаньте, это комари, летучие комари, вы схоронитесь в кустиках, они и отстанут.

Бедная Таичка не скоро пришла в себя. Руки, лицо и носик пуговкой были искусаны летучими муравьями, * пенснэ она потеряла, платьице изорвала. Она шла домой и горько плакала.

— Ну и работница, — смеялись артельщики, — комарей испугалась!

Работали с утра до ночи, часов не считали, а когда убирали сено и клевер, возвращались в темноте.

Рожь у нас родилась 20 копен на десятину — высокая, колос большой, тяжелый. Во время дождей она полегла, и когда скосили жнейкой, перепуталась. Опытным вязальщицам и тем было трудно, а я никогда в жизни не вязала. Затяну, свясло обрывается, слабо стяну — сноп рассыпается; снопы лохматые, неуклюжие. Ничего у меня не выходило, разломило спину так, что казалось больше не могу, брошу.

А две уборщицы музея, Поля и Маша, вязали быстро, и то одна, то другая мне сноп вяжут.

— Скорей, скорей, а то нас девки засмеют, надо пример подавать.

Так дотянула я до полдня, но когда шла домой, на обед, голова была в тумане, ничего не соображала от усталости. На следующий день я едва-едва встала, спина болела, руки исколоты, портянки сползали, сквозь чулки колола жесткая солома. Я с ужасом смотрела на подымающееся солнце, ощущая уже зной в разбитом теле. «Неужели дотяну до вечера?» Но как начала, стало легче, а после обеда еще легче, а на третий день я вязала наравне с другими.

После вязки подавать снопы было совсем легко. Уцепишь сноп, тяжелый, большой, перевернешь, поддашь его прямо на руки тому, кто на возу, наложишь, увяжешь, а потом сидишь и ждешь, когда загромыхает следующая телега. Мне

---

* У нас в Тульской губернии мужики говорят «комари» вместо муравьи.

ужасно нравилась эта работа. А когда перешли вязать и возить овес, то это оказалось совсем легко: снопочки маленькие, аккуратные, как игрушки.

Я очень гордилась, когда пришли к нам на поле трое мужиков. Дела у них не было, а так пришли полюбопытствовать, как «барские» работают. Постояли, посмотрели.

— У нас рожь не такая . . .

— Лучше?

— Куда там, много хуже.

Иногда из наших сокровенных запасов выдавался чай и сахар. Приносили два ведра кипятка в поле. Артельщики садились под крестец и пили. Пили долго, много, пот с нас лил ручьями, сахар откусывали по чуточке, чтобы хватило надолго.

— Силы-то, силы сколько прибавилось— радовался Адриан Павлович. — Ну ребята, валяй до вечера, без отдыху!

Когда пришла осень и стали делить продукты, оказалось всего много. Овощей, картошки, а главное, хлеба было вволю; капусту возили даже продавать.

— Вот большевики все толкуют: восьмичасовой, восьмичасовой, — говорили артельщики, — много бы собрали, коли восьмичасовой день соблюдали, а таперь, слава Богу, всего много, даже люди завидуют . . .

Этот первый год артели был самый удачный, на следующий такой острой нужды в продуктах уже не было. Некоторые, особенно «интеллигентные» сотрудники стали уклоняться от сельскохозяйственной работы. Я же и до сих пор с радостью вспоминаю о ней. Легко и просто совершилось для меня это «опрощение», которого так мучительно и безрезультатно мы добивались в прежние времена. Совершилось просто, потому что это было действительно необходимо.

ГЛАВА 30

КОМИТЕТ ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ

В 1920—1922 годах был страшный голод в Крыму и на Волге. Об этом много говорилось в Москве. Но что можно было сделать, когда большинство влачило полуголодное су-

ществование когда не было ни у кого денег, не было одежды, предметов первой необходимости?

Мой племянник Илья, семнадцатилетний юноша, и его друзья были счастливы, что могли работать с американцами у квакеров, помогая голодающим.

Пшеница не родилась, не было хлеба, не было и топлива, так как в степной полосе Поволжья крестьяне обычно отапливали дома соломой. Теперь же, за неимением и этого топлива, они разбирали сараи на дрова и даже сжигали все, что было возможно, в домах, чтобы не замерзнуть.

Нам показывали куски хлеба с примесью глины, которым питались там крестьяне.

В это время мне позвонил один из моих друзей:

— Мы организуем комитет помощи голодающим и просим вас принять в нем участие.

— Да, конечно! Но каким образом вы думаете помочь голодающим?

— Не беспокойтесь, все уже договорено с правительством, — сказал он мне.

— А чем я смогу помочь?

— Мы думали просить вас проехать в Канаду. Может быть вы смогли бы получить пшеницы от духоборов для их погибающих от голода братьев.

Повидимому комитет этот был организован с разрешения правительства и возглавлялся товарищем Каменевым — председателем Московского Совета.

В Москве среди интеллигенции только и говорили о создавшемся Комитете. Наконец-то все «эти» бывшие общественные деятели имели возможность себя проявить.

«Мы обязаны употребить свой опыт, свои знания на помощь страдающим массам, — говорили профессора, ученые, меньшевики и социал-революционеры. — Нельзя равнодушно наблюдать, как пухнут люди от голода; рассказывают, что бывают даже случаи людоедства. Давно надо было начать работу с большевиками, а мы сидели и ждали белых генералов — Деникиных, Колчаков и других, — говорили некоторые. — Надо стараться влиять на коммунистическое правительство и помогать ему. Мы уверены, что оно постепенно поймет, что мы можем быть полезны. Это единственный

путь к истинному прогрессу. Продолжать так, как теперь, нельзя, — говорили они.

И многие образованные умные люди вдруг почувствовали почву под ногами. Они уже не были ненужным, выброшенным за борт балластом, они были настоящими людьми, призванными помогать другим.

Но не все мои друзья примкнули к Комитету. Некоторые из них скептически-насмешливо улыбались, и не только отказывались принять участие в нашей работе, но уговаривали нас отказаться от этой бессмысленной авантюры.

Я не обращала внимания на их предостережения. Мне хотелось работать в Комитете. Я надеялась, что нам удастся что-то сделать.

Когда я приехала на первое заседание, я застала около 60 или 70 мужчин и женщин. Разбившись на маленькие группы, они взволнованно и горячо разговаривали. Собравшиеся были хорошо известными общественными деятелями — доктора, адвокаты, экономисты, профессора, ученые — все лучшие представители науки, проживавшие тогда в Москве. Между ними выделялась небольшая юношеская фигура Веры Николаевны Фигнер — знаменитой революционерки, которая сидела более 20 лет в заключении при царском режиме за свою революционную деятельность.

Она была очень моложава. Несколько седых волос на гладко причесанной голове, молодые живые глаза. На ней было простое черное платье с белоснежными воротничком и рукавчиками.

Ждали товарища Каменева. Ждали четверть, полчаса, ждали час. Должны были ждать: не имели права начать заседание без председателя.

Кое-кто терял терпение.

— Это просто преступление задерживать нас так долго, — шептала женщина-врач в темных очках, бывшая социал-революционерка.

— Пользуется своим положением, — поддержал женщину-врача известный московский адвокат, потирая лысину, — не очень это порядочно заставлять себя ждать так долго.

— Порядочно! — зашипела докторша. — Это просто безобразие . . .

Эта докторша была несколько раз арестована при царском режиме за свои либеральные идеи, а теперь, во время революции — как контрреволюционерка.

— Если бы не благая цель, ради которой мы все объединились, я бы давно ушла домой! Издевательство! Бюрократизм!

— Приехал, приехал! — крикнул кто-то.

Под окнами старинного двухэтажного особняка, где мы собрались, послышался шум моторов и в двери ворвалось с дюжину чекистов в остроконечных шапках, вооруженных револьверами и винтовками.

— Граждане! Вы арестованы!

— Что?!.. Почему арестованы?! Где товарищ Каменев? — раздались возмущенные крики. — Здесь какое-то недоразумение! Мы ждем товарища Каменева!

— Ха, ха, ха! Они хотят дождаться товарища Каменева! — издевался начальник чекистов. — Вам бы пришлось долго его ждать. Ну, живей! Марш! Нам некогда с вами тут валандаться!

— Но товарищ Каменев знает про Комитет, он наш председатель, он должен сюда приехать!

Люди окружили начальника, кричали, возмущались, негодовали:

— Это невозможно! Позвоните товарищу Каменеву, мы же собрались по его предложению.

— Арестовать нас, меня — заслуженного профессора — за то, что я хотел помочь голодающим! — визжал худой жилистый человек. — Это же, это же...

Даже чекист смутился.

— Поймите же, граждане, я тут не при чем, получил приказ и должен его исполнять. Если бы товарищ Каменев захотел, я полагаю, он не допустил бы вашего ареста. Он не приедет, это наверно. А теперь, марш! Я имею приказ вас всех доставик в ЧК. Понятно?

Мы поняли. Настала полная тишина.

— Товарищ Фигнер! — во все горло заорал чекист.

— Что такое? Зачем я вам? — спросила Вера Николаевна, отделившись от толпы, собравшейся у выхода. — Что вам нужно?

— Вы свободны. Можете отправляться домой!

Бледное худенькое личико старушки побагровело:

— Почему я свободна, почему только я одна могу ехать домой?

— У меня особый приказ вас не арестовывать. Вы свободны!

— Но я не хочу быть свободной! — закричала старая революционерка. — Не хочу, арестуйте меня со всеми. Если они — мои друзья— виновны, то и я с ними! Я член Комитета!

— Это меня не касается, гражданка! — и чекист отвернулся и повел нас всех к автомобилям, в которые нас и погрузили.

Некоторые члены Комитета просидели несколько дней, другие — несколько месяцев, но мы так и не узнали, почему мы были арестованы.

Должно быть за то, что хотели помочь голодающим.

Со мной в камере оказалась очень интересная сожительница — Е. Д. Кускова — жена профессора экономиста Прокоповича, известная в России журналистка.

Мы и не заметили, как прошел день в разговорах о нашем аресте, о прошлом России, о работах по кооперации, которой я в свое время очень интересовалась, организовывая в Ясной Поляне и ее округе кооперативные лавки, кредитные общества, кооперативные молочные, пчеловодные, сельскохозяйственные, артели, позднее уничтоженные большевиками.

Вечером, когда принесли ужин, в камеру пришел надзиратель.

— Товарищ Василий! — воскликнула я с радостью.

— Здравствуйте, гражданка Толстая. Рад вас видеть! — и он крепко сжал мою руку. — Опять к нам попали? — и он подал мне маленький пакетик.

— Гостинцы вам принес, узнал что вы здесь.

Кускова смотрела на эту сцену с недоумением и ужасом. Что такое? Почему я радуюсь и трясу руку коммунисту? Мне пришлось ей рассказать, как это случилось.

Во время моего прежнего сидения на Лубянке номер два, товарщ Василий приходил в камеру и это он предупреждал

меня, что доктор Петровская «наседка», * и чтобы я была с ней осторожна. Он же рассказал тогда, что рядом с нами в камере сидел Виноградский, который, как мы узнали впоследствии, был советским осведомителем и шпионом.

Когда я покидала тюрьму, я дала товарищу Василию свой адрес и он пришел ко мне и, пока мы пили чай, рассказал мне всю свою историю: как он попал в надзиратели и как тяжко ему было работать в Чека.

— А почему не уходите? — спорсила я.

— Невозможно, расстреляют! — ответил он печально. — Гадкая, противная работа. В деревне дом есть, старики мои еще живы, может быть когда-нибудь и вырвусь из ада этого.

И вот он, узнав что я в заключении, пришел и принес мне конфет. И я была ему рада . . .

Меня скоро выпустили. Я вернулась в Ясную Поляну к своим обязанностям.

ГЛАВА 31

ШКОЛА

В 1922 году я поручила знакомому архитектору составить смету на постройку школы-памятника Л. Н. Толстого, который я должна была представить Народному Комиссариату по Просвещению. Но денег Комиссариат не отпустил, и постройка была отложена. Между тем наплыв детей был так велик, что нам пришлось нанять избу в деревне и вести занятия в две смены.

Надо было что-то делать. Я ездила в Москву, стараясь получить ассигновку на школу. Я сомневалась, что специалистка-педагог, заведующая отделом, могла бы мне помочь. В черном, хорошо сшитом английском костюме, простая, но видимо умная, она внимательно меня слушала и по тонким губам ее пробегала чуть заметная насмешливая улыбка.

* Посаженный в камеру осведомитель или шпион.

Я была очень рада, что помощником ее оказался наш старый известный педагог.

— Вы просите денег на школу, — сказала заведующая, — почему? Какова ваша роль в этом деле?

— Я организовываю школу.

— Понимаю, но официально?

— Я хранитель Музея Усадьбы в Ясной Поляне, мне вменено в обязанность создать в Ясной Поляне куль . . .

— Знаю, но по Главсоцвосу * вы не служите?

— Нет!

— Простите, но чем же вы живете, вы же не можете жить на жалованье музейного отдела?

— Нет. Я зарабатываю пчелами.

— Что?! Почему пчелами?

— Продаю мед. Единственную собственность, которую нам Толстым оставили — это пасека. Каждый раз, когда я приезжаю в Москву, я захватываю с собою липовку с медом, а то и две и продаю знакомым . . .

— Ха, ха, ха! — вдруг разразился хохотом маститый педагог, сотрясая громадный просторный живот. — Нельзя ли купить у вас меда?

— Можно, но я не понимаю, почему вы смеетесь, вы бы попробовали потаскать на себе этот мед из Ясной Поляны в Москву. В некоторых липовках больше пуда.

— Ну так мы вас назначим заведующей, — сказала тонкогубая, пряча улыбку.

— Но у меня нет ни диплома, ни педагогических знаний . . .

— Ничего! Фактически вы уже заведуете школой.

И мне назначили жалованье — сорок два с полтиной в месяц.

Школа была зачислена в сеть школ Главсоцвоса. Утвердили штаты, дали немного денег на оборудование и постройку новой школы.

Я ушла с головой в это дело, и чем дальше, тем больше оно увлекало меня. Появлялись новые сотрудники; все они, также как и я, со страстью отдавались новой организа-

---

* Главное Управление по социальному воспитанию.

ции. Мы не считали часов, не жалели сил, с утра до поздней ночи мы вертелись в бешеном водовороте.

Думаю, что ни в одной стране люди не работают с такой безудержной, бескорыстной страстью, как в России. После революции это свойство русской интеллигенции еще усилилось. Только благодаря оставшейся в России интеллигенции не погибла русская культура: уцелели кое-какие традиции, сохранились некоторые памятники искусства и старины, существуют еще научные труды, литературные изыскания.

Чем объяснить эту страсть к работе? Массовым гипнозом? Инстинктивным желанием противопоставить творчество большевистскому разрушению? Или просто чувством самосохранения, боязнью остановиться, подумать, осознать? Может быть в этом и кроется главная причина этой неустанной деятельности? Можно ли делать, дышать, жить, если вдруг поймешь, что вся твоя работа только вода на большевистское мельничное колесо, что лишь туже затягивается петля на шее народа и что то, что ты сегодня спас, завтра разрушится?

Для того, чтобы *так* работать — надо быть или героями или не думать.

И в то время, как мы суетились, вдохновлялись, мечтали, работая «для крестьянских масс», «массы» равнодушно, почти враждебно относились к нашим начинаниям.

Школы они не хотели.

— Не нужна она нам, — говорили они, — кабы еще Закону Божию учили, а то на что она нам . . .

По декрету ВЦИК'а мы не могли строить на усадьбе — это изменило бы ее общий вид. Мы выбрали под школьный участок «Кабацкую Гору», * участок, спускающийся к концу деревни, почти против ворот усадьбы. Земля эта принадлежала крестьянскому обществу. Два раза мои сотрудники собирали сход и просили мужиков отрезать десятину земли под школу, но они решительно отказывались. Вернувшись из Москвы, я в третий раз собрала сходку. Землю дали, но совсем не потому, что осознали необходимость иметь шко-

---

* Здесь в старину был кабак.

лу, а так уж, из уважения к Александре Львовне, неловко было отказать.

Может быть крестьяне чувствовали то, что мне и в голову тогда не приходило: что школа оторвет от них ребят, воспитает новых, чуждых семье людей.

Они были правы. Действительно, с каждым годом ребята отходили от родителей все дальше и дальше. Но в начале учителям было трудно. Ребята им не подчинялись.

Молодой, черноватый, нервный учитель в волнении шагал по классу, начиная урок политграмоты.

— Вы, конечно, дети, знаете, что прежде в России был царь. Он управлял страной вместе со своими министрами и мало заботился о том . . .

— Заяц дерется! — пропищал чей-то голос.

— Зябрев, Миша, перестань! . . Ты вот лучше мне скажи, кто теперь заботится о народе?

Заяц молчал.

— Ну, кто такие большевики: Ленин, Троцкий?

— Знаю, знаю! — обрадовался Заяц. — Я сейчас скажу.

Заяц был самый шустрый и самый маленький из всего класса. Его плохо видно было из-за парты. Он вскочил на скамейку и, захлебываясь от нетерпения отличиться, запел прерывающимся тоненьким голоском:

«Ехал Ленин на телеге,
А телега-то без колес.
Куда чёрт плешивый едешь?
Ликвизировать овес!»

Оглядываясь на дверь, в ужасе махая руками, учитель несколько раз пытался остановить мальчика, но Миша, при громком хохоте всего класса допел частушку.

И таких случаев было много.

Пришел раз мальчик в библиотеку за книгами

— Разве ты сегодня не учишься? — спросил библиотекарь.

— Нет.

— Почему же?

— А ты не знаешь? Праздник сегодня.

— Праздник? Какой?

— А как же . . . Ленина пралик расшиб!

Постепенно школа сламывала искренность, непосредственную простоту ребят, слабело влияние родителей; дети инстинктивно улавливали двойственную игру, которую приходилось вести в школе. Мы и сами не заметили, как это случилось.

Старый педагог часто приезжал в Ясную Поляну. В маленьких санках, одной половиной вися в пространстве, правой ногой, чтобы не упасть, упираясь в отводень он удерживался в них, хотя его обширный живот и требовал больше половины сидения. Я возила его из школы в школу.

В бывшей церковно-приходской учила теперь ребят опытная, с 26-летним стажем, пожилая учительница Серафима Николаевна.

— Прочтите мне что-нибудь, — сказал педагог.

Ребята прочли.

— Хорошо читаете. А ну-ка, тетради покажите.

Показали тетради.

— И пишете вы, дети, не плохо, красиво. Ну, а спеть можете?

— Можем!

Ребята посмотрели на учительницу, переглянулись между собой и запели интернационал.

— Хорошо, хорошо, — сказал старик, — ну а свои, яснополянские песни знаете? Можете спеть?

Спели «кирпичики», и я повезла старика дальше.

— Вы знаете, что было после вашего отъезда из школы? — спросила меня вечером Серафима Николаевна. — Не успели вы отъехать, ребята меня спрашивают: «Что, вот энтот, что к нам приходил, коммунист?» — «Нет!» — «Большевик?» — «Нет!» — Ну где ж ты была, Серафима Николаевна!? Почему не сказала? Зачем же мы ему интернационал пели?»

ГЛАВА 32

НАЧАЛО КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ

Московские дела — наше кооперативное товарищество Изучения Творений Толстого, занятое разбором и подготовкой к печати рукописей отца — требовали много времени и

забот. Разгромили кооперативное Издательство Задруга, давшее нам деньги на редакционные работы. В самом товариществе произошел раскол: одни говорили, что надо обратиться за помощью в Госиздат, другие протестовали. Начались переговоры с Чертковым об объединении двух редакционных групп — Товарищества и Чертковской — воедино.

Решено было очистить музей Ясной Поляны от обитателей. Весь дом привести в тот вид, в каком он был в 1910 году, в момент ухода отца. Музейные здания требовали ремонта, не было еще описей имущества, в парке гибли деревья, зарастали дорожки. По праздникам, особенно летом, научные сотрудники Музея давали объяснения многочисленным посетителям.

В 1924 году школа Ясной Поляны была переименована уже в Опытно-Показательную Станцию. Это облегчало получение кредитов, но накладывало на нас новые обязательства.

Учреждения росли, как грибы, и я разрывалась между Москвой и Ясной Поляной.

Кто-то мне сказал, что АРА (Американская организация) жертвует лекарства. Я обратилась к ним. Мне дали оборудование, хирургические инструменты и лекарства на целую амбулаторию. Надо было хлопотать, чтобы Наркомздрав включил нашу амбулаторию в сеть своих учреждений и ассигновал кредиты на врача, фельдшерицу и сторожа.

Позднее удалось организовать при амбулатории помощь матерям и детям, 4 детских сада и к юбилею выстроить прекрасную больницу.

Осенью 1923 года Еврейско-Американское Общество через своего представителя г-на Розена пожертвовало 10 000 рублей на первые 4 класса нашей будущей девятилетки. Старшие классы продолжали обучаться в деревенской избе. В то же самое время мы получили от советского правительства первое ассигнование на школу-памятник.

Найти учителей было нелегко. Нищенские оклады, примитивные жилые помещения, деревня — все это было мало привлекательно. В продолжение целого года мы не могли найти преподавателя физики.

Но мы продолжали работать с увлечением. Наша девятилетка с сельскохозяйственным уклоном под руководством опытного агронома, постепенно приобретала доверие крестьян.

Наши крестьяне за немногими исключениями жили небогато. Крестьяне вели хозяйство по старинке. Трехполье, неправильное кормление скота, вследствие чего коровы худели и давали очень мало молока, урожаи плохие, бедность. Многие уходили в город на заработки, но там платили гроши, семьи голодали.

Наша школа, во главе с ученым агрономом, поставила своей задачей перевести крестьян на многополье, ввести кормление скота по датским нормам. Шесть наиболее культурных крестьян согласились предоставить свои хозяйства для проведения опытов.

Результаты оказались блестящими. У этих семей коровы давали столько молока, что не только хватало на их прокормление, но еще часть сдавали на продажу в молочную артель.

Но крестьянам наша работа послужила не на пользу, а во вред.

Я слышала, что после моего отъезда из России пошло гонение на шестерых крестьян, применявших культурные методы ведения сельского хозяйства. Их объявили кулаками. Самого культурного из них, только что построившего дом из кирпичей, которые он бил и обжигал сам со своим сыном, приговорили к ссылке в Сибирь.

Почти все жители деревни приехали на станцию провожать эту семью. Все любили и уважали их. Многие приносили им, что могли, на дорогу: пяток яиц, кусочек сала, краюху хлеба; женщины плакали.

Хозяйство при Музее-Усадьбе Ясная Поляна, по распоряжению ВЦИК-а должно было обратиться в показательное для крестьян, для туристов и для школы: с девятипольем, огородами, скотоводством и другими отраслями хозяйства. Весь доход должен был идти на содержание Музея-Усадьбы.

Работа по всем отраслям постепенно налаживалась. Труднее всего было сохранить производственные мастер-

ские-школы; почему-то правительство не давало на них средств. А между тем они были необходимы. Родители и ребята понимали, что выучив мастерство они легко найдут себе работу и хороший заработок. И они любили эту работу, увлекались ею; многие ученики приходили вечером и делали для своих родителей необходимые для них вещи: комоды, стулья, хорошие столы. Крестьяне ценили мастерские и посылали своих сыновей учиться мастерствам. Первые мастерские, устроенные нами в бывшем коровнике, не могли вместить всех желающих поступить в производственную школу, и трудно было отказывать в приеме ребятам, пришедшим издалека, иногда более 15 верст, горящим желанием учиться. Молча стояли они и смотрели, как работают другие ребята; и когда, после долгих просьб, им отказывали — они понуря голову, иногда со слезами на глазах уходили.

Во многих избах на деревне жили ребята из дальних деревень. Крестьяне брали с них по два рубля в месяц за постой. В субботу ребята уходили домой и возвращались в воскресенье вечером с харчами на всю неделю — караваем черного хлеба.

В 1925 году мы получили разрешение занять большой дом в Телятеньках (три версты от Ясной Поляны), принадлежавший до революции В. Г. Черткову.

Здесь помещался сиротский дом Губоно.* Я слышала о нем. Одна из учительниц несколько раз приходила ко мне и умоляла меня взять ее к нам, так как она больше не может работать в учреждении, где заведующий-коммунист растлевал девочек в доме; многие девочки 14—15 лет забеременели.

— А, если бы вы только знали, — говорила она, дергая плечом, — хорошенькие такие девочки, молоденькие, совсем дети, и все, понимаете ли, все . . . с заведующим . . . Ах, какой он мерзавец! И никто не донесет. Может быть вы что-нибудь можете сделать? Только меня не выдавайте, прошу вас . . .

---

* Губернский Отдел Народного Образования.

Но учительница производила странное впечатление. Она вся нервно дергалась, говорила полушепотом и все время оглядывалась по сторонам; вытаращенные глаза ее выражали страх, как бывает у людей с манией преследования. Я тогда не верила ей.

Но через несколько месяцев я встретила новую заведующую сиротским домом, и мы разговорились с ней.

— Не знаю, что делать, — жаловалась он мне, — денег не дают и почему-то не позволяют девицам ходить на заработки. А почему так? Не понимаю. Некоторым уже лет по двадцати... И выписать нельзя... Ну, куда они пойдут? На улицу? На маленьких детей ассигнований совсем нету, а ведь им молоко надо.

— Я думала, у вас ребята старшего возраста?

— Ну да, старшего, но девицы-то мои почти все с приплодом. Хорошо еще, что некоторые алименты получают...

Я пришла в отчаяние, когда осмотрела опустевший Телятеньский дом: мебель была поломана, окна разбиты, крыши проржавели и текли, стены покоробились, чердак был весь загажен. Ребятам холодно было зимой ходить на двор в уборную и они устроили уборную на чердаке. Много надо было исписать бумаг, потратить сил и энергии, чтобы привести Телятеньки в порядок.

Сюда мы перевели первую ступень школы и мастерские.

Школа разрасталась.

ГЛАВА 33

ТРАВЛЯ

Артель нам теперь была не нужна. Сотрудники школы и музея были загружены работой, получали скромные жалованья и всем нам некогда было заниматься сельскохозяйственной работой.

Да и желание прошло, центр хорошо относился ко мне и к нашей работе. Они, видимо, хотели создать в Ясной Поляне нечто вроде культурного центра, одного из тех, которые показываются туристам. И я им была нужна.

Местные власти не понимали этого. Для них мы были ненавистными буржуями. Они завидывали нам и жаждали нас уничтожить Чем лучше шло наше дело, тем больше они злились. Чем меньше я с ними считалась, тем больше разгоралась их жажда меня подавить, унизить.

Как это всегда бывает, дело началось с пустяков.

Один из наших технических работников, безобидный тупой человек обремененный большим семейством, заведывал складом и молочным хозяйством. Несколько раз, при проверке склада и молока, обнаруживалась недостача. Я сместила Толкача со склада и с тем же окладом назначила его сторожем Музея.

Вскоре после этого в «Правде» появилась статья. В ней говорилось о том, что бывшая «графиня», окружив себя буржуазным элементом, окопалась в прекрасном уголке Ясной Поляне. Буржуи эти, генералы и бывшие царские прислужники живут попрежнему, устраивают оргии с вином по ночам, заставляя сторожей музея прислуживать себе, не давая им спать до утра и за это бросают им подачки с барского стола. Чтобы прикрыть все это безобразие Толстая организовала артель, при чем львиную долю продуктов с хозяйства получает она, бывшая графиня и ее приспешники, а служащие держатся впроголодь. В школе ведется религиозная пропаганда, революционные праздники не отмечаются.

Служащие переполошились. Всякая травля начинается именно так. За газетной статьей шли ревизии, придирки и кончалось разгромом учреждения. И так и шло, все как по писанному. Сейчас же после статьи начались ревизии. Казалось бы Губернскому Отделу Народного Образования и дела до нас не было, мы были подчинены центру, но ревизии одна за другой шли не только от губернских, но и от районных властей. Созывались бесчисленные учительские собрания. Чтобы уличить нас в неправильном ведении дела, Губоно мобилизовал лучших своих инструкторов: проверялись тетради, отчеты, опрашивались ученики, учителя.

— Вы что изучаете, лес? — кричал инструктор на Серафиму Николаевну. — А позвольте спросить, при чем здесь у вас в отчете лягушка? А автомобиль?

— Я сейчас объясню вам, товарищ. Видите ли, мы с ребятами совершали прогулку в лес, — в волнении, вертя карандаш и пришепетывая, говорила Коростылева, — видим на дороге лежит мертвая лягушка. Ребята заинтересоавлись. Мы и рассмотрели ее. Господи! Неужели мы не имеем права рассматривать лягушку? — чуть не плакала Серафима Николаевна.

— Ну, а при чем тут автомобиль?

— Пошли дальше, видим на дороге стоит автомобиль, испортился. Ну, как вы удержите ребят? Конечно, они все бросились к автомобилю. Шофер оказался очень любезным, он стал объяснять ребятам устройство автомобиля.

— И зачем она этот автомобиль в отчет поместила? — волновались другие учителя.

Тульские власти ревизовали сельское хозяйство, музей. Незнакомые люди мелькали то в поле, то в лесу, они ходили по всей Ясной Поляне, разговаривали подолгу с рабочими, со сторожами музея, с ребятами в школе. А как только кто-нибудь из нас подходил, сознавая свою силу подло ухмылялись и отходили.

Здесь были разные типы: один был с тупым и порочным лицом беглого каторжника, другой — высокий, черный, с лохматыми волосами и претензией на интеллигентность: товарищ Чернявский, заведующий Тульской Совпартшколой. Днем и ночью за нами следили, в чем-то нас улавливали. Мы потеряли покой.

— Мария Петровна, Мария Петровна! — кричал какой-то карапуз учительнице физики. — Давеча этот чернявый, какой из Тулы ездит, знаете что меня спрашивал?

— Ну?

— А бьют ли вас, говорит, учителя?

— Что?! Не может быть! Какое безобразие!!

— Ну, как же не может быть? Бьют ли вас, спрашивает, ребята, учителя?

Мальчик остановился, наслаждаясь растерянностью маленькой нервной учительницы.

— А я ему: «Ну да, говорю, бьют. Учительница физики у нас злющая».

У рабочих, у ребят появились новые нотки в разговоре. Авторитет сотрудников и мой постепенно подтачивался. При звуке приближающегося автомобиля все нервничали: «Новая ревизия!»

— Мама, мама! — кричала моя крошечная внучатая племянница. — Опять мафтабиль лиехал, дяди несолосие!

По установившемуся обычаю каждую весну школа и музей устраивали праздник леса. Учащиеся вместе с учителями шли в лес, выкапывали молодняк и сажали около школы, по дорогам, перед крестьянскими избами, в парке. В 12 часов ребятам раздавались бутерброды, чай, угощение и после полудня устраивались игры: горелки, лапта, бары. В 1924 году праздник наш прошел также дружно и весело, как всегда.

В этом же году Лесотдел вместе с местным подгородным лестничеством с большим опозданием устроил свой праздник лесонасаждения. Были приглашены крестьяне Ясной Поляны. А так как школа и музей уже отпраздновали этот день, от нас пошли только несколько человек — из любопытства.

Митинг открыл заведующий Гублесотделом политической речью. С доклада о международном положении он очень скоро перешел на Ясную Поляну. «Граждане и товарищи! — выкрикивал он. — Нам нужно напрячь все силы для строительства нашей страны. Сейчас, когда международные капиталисты точат зубы на пролетариат, нам особенно важно обратить внимание на наших внутренних врагов. Товарищи! Мы не расправились еще с гидрой контрреволюции! Они здесь, среди нас! Незачем нам далеко ходить, товарищи! Уничтожайте эти контрреволюционные элементы у себя под боком! Вот сейчас, перед нами (и он указал на темнеющие липы парка усадьбы Ясная Поляна), в этой самой усадьбе приютилась вся эта сволочь со сволочью, бывшей графиней Толстой во главе. Граждане Ясной Поляны, вы должны помочь нам искоренить . . .

И опять эта речь передавалась сотрудниками из уст в уста. Волнение дошло до крайних пределов. Что же дальше? Разгром всего дела, Чека? Среди технических служащих началось разложение, только старики были с нами. Меня

еще слушались, но учителям и сотрудникам музея грубили. Если надо было учителю среди ночи ехать на станцию, чтобы попасть в Москву на конференцию, кучер отказывался запрягать:

— Это тебе не старый режим, людей по ночам будить... коли надо, запрягай сам.

Учитель настаивал, но кроме гадкой ругани ничего не мог добиться.

Кучера я уволила, но местные власти, профессиональный союз вступились, требуя, чтобы я взяла его обратно.

Хозяевами, следя грязными сапогами по чистым полам, в шапках коммунисты входили в дом-музей, в отцовские комнаты.

— А любил старичок водочку, — говорили они, мерзко помаргивая на стоявший на полке среди других лекарств спирт.

Я стискивала зубы.

По ночам по парку ходили взрослые ребята. Они демонстративно проходили под окнами, ругая нас и сквернословя. Тетенька Татьяна Андреевна в ужасе вскакивала:

— Мерзавцы, как они смеют! Я сейчас им скажу..

Но я умоляла ее сдерживаться. Трудно было. У меня самой спирало дыхание, темнело в глазах... Но я знала, что каждое неосторожное слово раздуют, разнесут, донесут куда следует, и тогда все пропало. Откуда взялась у меня такая выдержка, я и сама не знаю.

Оставалось одно средство борьбы — Москва. До сего времени, за исключением статьи в «Правде», вся травля исходила от местных властей. И я опять поехала в ВЦИК.

Калинин и Смидович выслушали меня и обещали прислать ревизию от ВЦИК-а. По их тону я прекрасно поняла, что на Ясную Поляну уже сыпались доносы в Москву.

Мы ждали ревизии со дня на день. А между тем нападки на нас не прекращались. Тульское Губоно решил дать Яснополянской опытной станции генеральный бой на учительской конференции. Мой заместитель, зубастый молодой человек, долгое время работавший в профессиональном союзе и несколько учителей вызвались ехать на конференцию. Я осталась, потому что нам сообщили, что сейчас же после

конференции будет еще одна ревизия и мне хотелось привести в порядок всю отчетность.

Не было, кажется, ни одной гнусной клеветы, которой бы не возвели на Ясную Поляну на этой конференции. Мой заместитель, хороший оратор, говорил больше часа, опровергая все возведенные на нас обвинения. Учителя вернулись взволнованные, но торжествующие, — районное учительство было на нашей стороне.

За эти несколько месяцев мы отвыкли спать. Измученные, издерганные учителя бродили по ночам по парку, шептались, обсуждая положение, готовые ко всевозможным ужасам, и только надеялись на ревизию ВЦИК.

А у меня что-то странное делалось с сердцем: прыгало, билось скачками, приостанавливалось, дышать было трудно. Я ложилась спать, стараясь унять эти жуткие скачки, напрасно. Часами я лежала в той самой комнате, где был кабинет отца в 70-ых годах, и смотрела на желтую перегородку, ту самую, куда он хотел захлестнуть петлю, когда безысходная тоска мучила его, — Арзамасская тоска . . .

Я пробовала читать философские книги — Круг Чтения, Шопенгауера — напрасно; если и удавалось унять сердце, успокоиться, крики из парка, стук в дверь снова выводили меня из равновесия.

— Кто там? . .

Несколько сотрудников вваливались в первую комнату за перегородкой:

— Митинг в парке. Чернявский показывал антирелигиозный фильм, а потом говорил речь, призывал молодежь громить буржуев Ясной Поляны. Ребята очень возбуждены. Траву всю вытоптали, дорожки заплевали подсолнухами, все наши посадки поломали, на скамеечки нагадили.

Учителя, сотрудники музея ужасно нервничали. Некоторые собирались уезжать из Ясной Поляны. Дело расползалось. Я старалась изо всех сил сдерживаться, и от этих усилий все чаще и чаще напоминало о себе сердце.

Молодой, чернявый учитель ураганом влетел ко мне в кабинет.

— Александра Львовна! Александра Львовна! Скорей! Ревизия ВЦИК!

— Возьмите вот, покажите им . . . — задыхалась Серафима Николаевна, — школьные журналы, они увидят, что все праздники отмечаются! — и она совала мне под нос какие-то тетради.

Громадный, шестиместный автомобиль стоял около старого вяза. Один за другим из него вылезли шесть человек. Среди них я узнала председателя губернского Исполнительного Комитета, председателя Губоно, Чернявского, председателя Тульской Контрольной Комиссии. Остальные двое были из ВЦИК.

Это была настоящая ревизия. Сначала в моем присутствии опрашивали свидетелей обвинения, вызывали Толкача, какого-то малого с деревни, допрашивали Чернявского. Бухгалтер Петр Петрович, присутствовавший при допросе, рассказывал мне, что свидетели перепугались, смешались и не могли повторить своих наветов, напрасно Чернявский всячески поощрял их и подзадоривал. Потом вызвали в канцелярию меня.

— Александра Львовна! — обратился ко мне секретарь ВЦИК, Киселев. — Скажите нам, какой паек вы получали из артели?

— Мне хотелось бы, — едва сдерживая гнев, — отвечать на все вопросы с документами в руках. Пожалуйста, — обратилась я к Петру Петровичу, который заведывал канцелярией, — дайте мне протокол общего собрания артели прошлого года.

В этом протоколе было записано заявление, что я отказываюсь от артельного пайка, так как все свободное время я должна посвящать работе в музее и школе и не могу больше работать в хозяйстве.

— Следовательно, за последний год существования артели вы пайка не получали?

— Нет.

— Так.

— А позвольте вас спросить, Александра Львовна, — обратился ко мне член ВЦИК-а Пахомов, — была у вас вечеринка, когда вы пили вино и веселились до утра?

— Да, была. Это было 23-го апреля, в день моих именин.

— Сколько было выпито вина?

— Две бутылки портвейна.

— Сколько было человек?

— Больше тридцати.

Члены ВЦИК переглянулись.

— Товарищ Толкач, что товарищ Толстая говорит правду или нет?

— Должно быть правду.

— Товарищ Толстая, был ли такой случай, чтобы вы заставляли сторожей вам прислуживать и ночью заставляли ставить самовары? Товарищ Толкач ставил вам ночью самовар?

— Ставил. Толкач был дежурным. Я пригласила его выпить с нами чаю, он охотно присоединился к нам, пел с нами песни, пил чай. В два часа ночи мой заместитель, увидев, что самовар опустел, взял его и понес в кухню ставить, но Толкач вскочил, вырвал у него из рук самовар и пошел ставить его сам.

— Товарищ Толкач представил мне этот случай несколько в ином виде . . .

— Подождите, товарищ Чернявский, мы вас уже выслушали! Товарищ Толкач, так это все было, как рассказывает нам гражданка Толстая?

— Стало быть так.

— Пожалуйста продолжайте, Александра Львовна!

— Вскоре после этого, когда мы стали расходиться, я вспомнила про детей Толкача, завернула кусок пирога и конфеты в бумагу и подала ему. Конечно, я далека была от мысли, что могу его обидеть, никому не приходится теперь часто пироги и конфеты есть. Толкач как будто не обиделся, а скорее обрадовался . . .

— Какая ложь! — вдруг, побледнев, крикнул Чернявский.

Но Киселев жестом остановил его.

— Говорите, Александра Львовна.

И я стала говорить. И чем больше я говорила, тем мне становилось легче, точно прорвало меня, я дала себе волю, долго сдерживаемый гнев разрешился, облегчил, освободил меня. Я, кажется, никогда в жизни не была так красноре-

чива. Я издевалась над Чернявским, я почти физически наслаждалась его бессильной злобой, его растерянностью. Он был теперь обвиняемым, я была обвинителем.

ГЛАВА 34

БЕСПРИЗОРНЫЕ

Я иду по Моховой, в руках большой портфель. Что такое? Как мухи вьются вокруг меня беспризорные, забегают справа, слева, один с силой толкнул меня под левый локоть.

Сейчас днем, пожалуй, не решатся портфель вырвать, кругом народ, на углу стоит милиционер. Может быть ночью бы и отняли, то и дело слышишь как отняли сумочку у дамы, вырвали из рук портфель у запоздавшего с заседания чиновника.

Молчаливое приставание ребят стало настолько назойливым, что я направилась к милиционеру.

— Беспризорные меня преследуют, — сказала я ему, — может быть хотят портфель вырвать?

— Нет, не портфель, смотрите перо у вас сейчас из кармана выскочит!

Действительно, ребята уже выбили из бокового верхнего кармана самопишущее перо. Так вот за чем они охотились!

Самопишущие перья были в Москве большой редкостью. Купить их нельзя было, а это перо подарили мне американцы.

Я вынула его из кармана и положила в портфель. Тотчас же преследование кончилось, только один из мальчишек забежал вперед, вскочил на тумбу и высунул мне язык.

Много их было летом в Москве. Ночевали они в асфальтовых чанах на улицах, согревая друг друга своими телами. С наступлением осени они, как перелетные птицы, тянулись к югу. Нередко мне приходилось с ними путешествовать. Ехали они под лавками, иногда в ящиках под вагонами. Питались они кусками хлеба, которые им из окон кидали пас-

сажиры; иногда им удавалось вытащить кошелек из кармана зазевавшегося пассажира.

Помню, я видела их на Кавказе, куда я ездила отдыхать. Они атаковывали пассажиров:

— Копеечку дай!

— Гражданин, дай папиросу!

— Молод курить еще... Где твои родители?

Беспризорный хмуро молчал. Сентиментальные разговоры господ интеллигентов им давно надоели.

— Ты бы лицо пошел умыть, нехорошо когда мальчики ходят грязные, ведь эдак лицо может сыпью покрыться... Посмотри на себя, точно негр...

— Дай гривенник, умоюсь!

— Ах, как нехорошо! Ведь тебе же самому, не мне, надо умыться. Ну так и быть... иди вымойся.

Беспризорный схватил с земли корку арбуза, разломил ее пополам и стал мазать лицо. Сажа смешалась с липким соком, потекла грязными струями по щекам и по шее. Из-под черной маски показалось хорошенькое детское личико.

— Давай гривенник!

Интеллигент вздохнул и полез за кошельком.

— Дай и мне гривенник, — пропищала девочка лет восьми, — я тоже лицо помою.

— Это твоя сестра? — спросил интеллигент мальчика.

— Это моя жена! — буркнул мальчик с вымытым лицом, поднимая с земли окурок и закуривая.

Днем они просили, по ночам выходили на работу. В Туапсе на вокзале всегда была давка. Люди сутками ждали поездов, отходящих на север. В момент посадки, когда кондуктора спрашивали билеты и пассажиры, чтобы освободить руки, ставили чемоданы на землю, из-под вагонов незаметно просовывался крюк, цеплялся за ремень или за ручку чемодана и он уплывал под вагон.

Один раз, возвращаясь из Сухума, где я провела свой летний месячный отпуск, мы около суток ждали возможность попасть на поезд. На станции было душно и мы вышли на крыльцо. Почему-то парадные двери были забиты, хода здесь не было, и только зияли темные дыры выбитых окон. Нас было четверо: трое служащих толстовских учреждений

и я. В чайнике принесли воды и, сидя на приступках крыльца, мы пили чай.

Сначала мы были на крыльце одни, но через несколько минут шестеро ребят восьми—двенадцати лет появились откуда-то из темноты.

— Тим та тира-ра! тим та ра! Тим та тира ра ра тим та ра! Мальчик лет двенадцати пел и отбивал чечотку. Лица его не было видно, но движения были необычайно грациозны, поражала ритмичность и музыкальность его пения.

— Эх, сволочь, и ловко это он . . .

— Мадленки нет, а то двое они . . . здорово это у них выходит.

— Мадленка его с косым гуляет . . .

Вдруг плясун круто остановился.

— Ах ты . . ., — он скверно выругался, — брешешь, сволочь! Да коли она . . ., — опять ругательство, — я бы ей все ребра переломал.

И он опять пустился в пляс: Тим там тира ра ра! Тим та ра!

Видели они нас или нет? Мы сидели тихо, боясь шелохнуться.

Вдруг пение и пляска оборвались. Широкий, низкий человек вбежал на крыльцо.

— Живо! — он наклонился к самому маленькому тоненькому мальчику, что-то шепнул ему на ухо и ловким движением, подхватив его правой рукой под грудь, через выбитое окно спустил в станцию.

Наступила тишина. В темноте вспыхивали огоньки папирос. Вдали, должно быть из городского сада, слышались звуки оркестра, того самого мотива, который только что напевал мальчик-плясун.

Вдруг что-то глухо хлопнулось из окна. Послышался детский крик:

— Нельзя было, дяденька . . . милиция, — пищал детский голосок, — насилу убег.

Взрослый скверно выругался.

Это было в Ясной Поляне. За ночь поседели старые деревья в парке, и седины их легкими ажурными прядями свисали, тысячами огней искрясь на солнце. Воздух был чист и неподвижен. Березы, ели, покрытые инеем, точно выросли, в одну ночь поважнели в своих фантастически чудесных нарядах.

Точно праздник! Я шла в Музей и вдруг на ступеньках террасы увидала маленькое скрюченное, безобразное в своей нищете существо.

— Ты что?

Навстречу мне встал мальчик лет одиннадцати, худой, оборванный, жалкий.

— Мне нужно Толстову видеть, говорят она сирот собирает...

— А ты сирота?

— Да.

— Откуда?

— Ехал к бабушке, без билета, ссадили с поезда на Засеке, там мне сказали, что Толстова сирот собирает в Ясной Поляне, я и пришел.

— Беспризорный?

— Да.

— Из карманов таскать умеешь?

— Нет. Побираться — побирался, а воровать — не воровал.

— Хорошо, посмотрим.

Я отправила мальчика к рабочим и просила их понаблюдать за ним.

Через две недели мальчика перевели в интернат.

Все любили Володю Соколова. Учился он хорошо, особенно хорошо рисовал.

Прожил он в интернате у нас полтора года. Все уже давно забыли, что он когда-то был беспризорным.

И вот, как-то утром прибегает ко мне заведующий интернатом.

— У нас несчастье! Володя Соколов сегодня ночью сбежал! Утащил у ребят семь рублей денег и три пары новых сапог.

Дали знать в милицию, сообщили на железнодорожную станцию, но Володя так и исчез, точно в землю провалился.

Сначала воспитанники интерната молчали, а затем постепенно стали рассказывать, как Володя, начитавшись Джека Лондона, мечтал о путешествиях и, когда наступила весна, не выдержал, вспомнилась ему вольная, бродячая жизнь и он удрал.

ГЛАВА 35

АУКЦИОН

Я в Петербурге.

Холодные, пустые, заброшенные храмы, опустошенные дворцы, пустые магазины. Все в прошлом. Я хожу по Петербургу и вспоминаю:

Шпалерная, визиты, первая, неразделенная шестнадцатилетняя любовь, блаженные, полные свежей поэзии воображаемые страдания, белые бессонные ночи, оживление всегда нарядного, корректного, с европейским налетом населения Петербурга; вечный спор между молодежью — какой город лучше — Москва или Петербург? красавица Нева, дворец, связанный в воспоминаниях со строгой, привлекательной фрейлиной бабушкой Александрой Андреевной; непривычная роскошь, блеск, придворные лакеи в красивых мундирах, кареты, городовые, отдающие бабушке честь...

Мы приехали сюда, чтобы достать книг для Яснополянской библиотеки. В Петербурге оказался самый большой книжный фонд, собранный из реквизированных частных, может быть и царских библиотек. Здесь громадный склад, куда в беспорядке сваливались тысячи книг. Несколько человек из бывших людей от Петроградского Комиссариата по Просвещению работало в нем. И среди этой груды томов удавалось иногда выкапывать такие перлы, как, например, «Современник» Пушкинского времени.

С научной сотрудницей Яснополянского Музея мы часами в пыли и в страшном холоде искали книги, подбирая то, что нам нужно было для Яснополянской библиотеки.

В свободное время мы бродили по Петербургу. Зашли как-то на Мойку, нашли квартиру Пушкина. Зашли в Толстовский Музей, где с той же любовью продолжал работать хранитель рукописного Отдела Академии Наук, В И. Срезневский.

Как-то забрели на Дворцовую Площадь. Какие-то люди уверенно шли прямо во дворец и мы пошли за ними. Мы уперлись в темный коридор. Здесь в левом углу тускло горела электрическая лампочка. За стойкой стоял человек и что-то кричал. Мы подошли ближе.

— Пятьдесят копеек!

— Пятьдесят пять!

— Пятьдесят пять! Кто больше?

— Шестьдесят!

— Будьте добры, — обратилась я к стоявшей рядом с нами женщине, — скажите, что это такое?

— Как что?! Разве вы не видите? Остатки царских вещей распродают.

Ламповые абажуры, веера, чашки, тарелки, полинявшие ленты, половые щетки, соломенная шляпка и пропасть больших и маленьких пустых футляров с круглыми или овальными углублениями. На некоторых мелькали надписи: «Его Императорскому Величеству Императору . . .» Где же эти золотые и серебреные блюда?

— Футляр шагреневой кожи! Один рубль!

— Рубль десять!

Несколько человек в заношенных пальто охотились за этими футлярами.

— Ювелиры, большие футляры на маленькие переделывают. Они им «нужны».

— Саксонское блюдо с царским гербом, — продолжал выкрикивать человек, — три пятьдесят! Кто больше?

— Четыре! — вдруг крикнула я.

— Четыре пять!

— Четыре с полтиной! — опять крикнула я, решив во что бы то ни стало купить это блюдо.

Оно мне досталось за семь рублей. Я взяла его в руки и мне почему-то сделалось стыдно.

— Полотенца! — кричал человек, поднимая вверх кипу затертых рушников. — Десять копеек! Кто больше?

— Пятнадцать! — крикнула какая-то женщина и получила их.

— Шесть здравниц императора Павла Первого! Пятнадцать рублей! — крикнул человек.

— Шестнадцать! — Крикнула я. На зеленом хрустале красовались золотые гербы и вензель Павла Первого.

— Семнадцать! — крикнули рядом.

— Семнадцать! раз, два, три! — быстрой скороговоркой произнес аукционист так быстро, что никто не успел предложить больше.

Молча вышли мы из дворца. Я привезла саксонское блюдо домой. Я любила смотреть на большие, прекрасно сделанные розы, любила его чистый звон, и вместе с тем мне всегда было неловко... Зачем я купила его? Оно же было — краденое...

ГЛАВА 36

РУКОВОДИТЕЛИ

Долгое время в Ясной Поляне ни на деревне, ни в усадьбе не было ни одного члена коммунистической партии.

С точки зрения коммунистов такое положение вещей было недопустимо.

Я рассказала членам ВЦИК'а, как Чернявский своей разлагающей деятельностью разрушал то, что с таким трудом создавалось: дисциплину в школе, уважение к труду... Мы все, при поддержке центра направляли наши усилия на создание в Ясной Поляне культурного очага, а группа местных коммунистов, руководимая завистью и злобой, старалась погубить наше дело.

Когда я кончила, секретарь ВЦИК'а, Киселев, попросил всех удалиться. Председатели Губисполкома и Губоно задержались.

— Прошу всех, всех удалиться, — сказал Киселев, — мы желаем наедине поговорить с Александрой Львовной.

— Вы понимаете, товарищи, — сказала я, — какая клевета была возведена на Ясную Поляну и на меня?

Они промолчали.

— Какое вы хотите удовлетворение? — спросил Пахомов.

— Опровержение в газетах и возможность работать, — сказала я.

— Хорошо.

Случайно или нет, но в Туле переменились власти. Был назначен новый председатель Губисполкома, председателя Губоно — безграмотного парня — сместили, исчез и Чернявский из Тулы, мы никогда больше не слыхали о нем.

Ясная Поляна была спасена потому, что она была Ясной Поляной. А сколько учреждений погибло, сколько было загублено учителей, заведующих школами, научных сотрудников!

— Кто же у вас ведет партийную работу? — спрашивали у меня в центре. — Кто преподает политграмоту?

Я старалась, как могла, отвертеться от этих вопросов, пока, наконец, новый заведующий отделом опытно-показательных учреждений самым настойчивым образом не потребовал, чтобы у нас преподавала политграмоту партийная работница.

Делать было нечего.

Но мне было неприятно. Кем окажется эта коммунистка? Мы знали, что целые учреждения разваливались, благодаря командированным из центра коммунистам. Они доносили, ссорили персонал, натравливали учеников на учителей. Да и поселить ее было негде. Все помещения на усадьбе были заняты. А кто знает, согласится ли она жить в крестьянской избе в деревне?

Когда она приехала, я пригласила ее пить кофе. Долго и внушительно я говорила ей о том, что Ясная Поляна находится в исключительных условиях, что сам ВЦИК согласился, что ради уважения к памяти Толстого школа не будет вести ни антирелигиозной, ни милитаристической работы, что я надеюсь — она, несмотря на свою партийность поймет наше особое положение...

Я начала говорить убежденно, с жаром, но чем больше я говорила, тем большая растерянность отражалась на изъ-

еденном оспой лице коммунистки. С гладко причесанными волосами и добрыми неумными глазами она кротко улыбалась, обнаруживая гнилые зубы, и молчала. Замолчала и я.

В школе выделили специальные часы для политграмоты.

На предстоящем учительском совещании в порядке дня значился доклад учительницы политграмоты о плане ее работы с учениками во второй ступени.

Но на первое совещание учительница доклада своего не подготовила, не подготовила и ко второму совещанию. В мягкой форме пришлось сделать ей выговор и потребовать, чтобы уж на третьем совещании она непременно сделала свой доклад.

Очень скоро и учителя и ученики привыкли к коммунистке, никто не боялся ее, называли ее товарищем Мальвиной и даже слегка над ней подшучивали.

На третьем педагогическом совещании, когда дошли опять до вопроса о политграмоте, товарищ Мальвина вдруг склонила голову на стол и, простонав: «Оставьте меня в покое!» — зарыдала.

К счастью политграмота вскоре после этого слилась с обществоведением и товарищ Мальвина была назначена заведующей народной библиотекой.

Я называла Мальвину «ручной коммунистской» и пела ей песенку: «Без РКП я не могу, не могу, не могу! Дня не могу прожить! Дня не могу прожить!» — Она не обижалась.

Один раз утром она пришла ко мне и рыдая сообщила, что больше состоять в партии не может.

— Почему же? — спросила я и корыстная мысль промелькнула в голове: «Если Мальвина уйдет из партии, нам пришлют другого коммуниста, и Бог знает, каким он окажется».

— Почему же, товарищ Мальвина?

— Александра Львовна, — сказала она прочувствованным голосом, — я верю вам, как вы скажете, так я и поступлю. Я что-то не могу с ними работать... Они требуют на вас доносов, а что я им буду доносить? Вы знаете, как я к вам отношусь... Да и многое другое... Всего вам не расскажешь... Скажите, что мне делать?

— А можете ли вы искренно, как прежде, служить партии?

— Нет.

— Ну так выходите. Мне это очень невыгодно. Я вам прямо скажу: на вас я смотрела, как на своего человека и я не знаю, кого нам пришлют теперь на ваше место. Но я не могу вас просить оставаться в партии, если вы уже не можете искренно в ней работать.

И Мальвина вышла из партии и совсем слиняла. Постепенно она сходила на все более низкие должности и докатилась до делопроизводителя, но и это делала плохо.

Товарища Мальвину заменили товарищем Александровой — комсомолкой. Она была прислана Москвой, как руководительница новых пионеров в школе. Жила она в Телятеньках, в бывшей Чертковской усадьбе и преподавала в первой ступени. Через месяц не было ни одного учителя, который бы над ней не смеялся.

Также, как и товарищ Мальвина, она была ничтожная и глупая. И хотя и окончила учительскую семинарию где-то в Сибири, была совершенно безграмотная. Ничем не интересовалась, кроме вопросов пола.

— Кто же вам больше нравится: инструктор столярной мастерской или бухгалтер Петр Петрович? — смеялись учительницы.

Александрова надувала пухлые губки, зеленые глазки ее вдруг делались влажными, точно маслом смазанные.

— Иван Степанович — настоящий мужчина! Я люблю таких! — с жаром говорила она. — Он такой мускулистый, сильный . . . Бюстхалтер тоже хорош, такой изящный, нежный . . .

— Кто? — хохотали учительницы. — Бюстхалтер?

— Ну да, тот, что ведет счета.

— Бухгалтер?! Ха, ха ха! Товарищ Александрова, вы знаете, что такое бюстхалтер? . .

До меня стали доходить слухи: сначала осторожные, затем все более и более настойчивые. Говорили о том, что комсомолку за одну ночь посещало несколько мужчин. Заведующая интернатом потребовала удаления Александровой

из Телятеньков. Она считала, что Александрова неприлично ведет себя со взрослыми воспитанниками.

Я поехала в Москву, сообщила заведующему отделом о поведении командированной им в Ясную Поляну комсомолки и требовала ее увольнения. Но дело замяли. И только после того, как сместили заведующего и на его место был назначен другой, мне удалось избавиться от руководительницы юных пионеров.

Скоро создалось другое осложнение.

— Не знаем, что делать с Катей? — говорили учителя. — Она не ходит в школу, а когда приходит, заниматься не хочет, ничего не делает, грубит.

Я вызывала Катю к себе, жаловались родителям — ничего не помогало. А Катя была лучшей нашей ученицей, способной, умницей.

И наконец узнали правду. У Кати должен быть ребенок. Это был первый случай в нашей школе. Мы всегда поражались, какие прекрасные, чисто товарищеские отношения создались между ребятами в школе, ни о каких романах не было и речи, и даже противники совместного обучения должны были изменить свое мнение.

Отцом ребенка оказался секретарь комсомольской ячейки, присланный из Тулы Губернским комитетом партии для руководства нашей молодежью.

Секретари комсомольских ячеек менялись один за другим.

Привыкшие к разнузданной жизни в городе, секретари эти всегда вносили элемент распущенности в среду наших учащихся. И так как присылались они в Ясную Поляну губернскими властями, то и борьба с ними была непосильна. Губком стоял за них горой.

В сумерки, тайком от комсомольской ячейки, прибежала ко мне хорошенькая девочка лет семнадцати, Марина Карасева.

Славная она была девочка и весь облик ее не подходил к комсомолу. Такая она была аккуратная, изящная, тихая. Грубые шутки, необходимость доносить на начальство и учителей, панибратство — казалось все претило ей в комсомольской ячейке.

— Марина, почему ты пошла в комсомол? — как-то спросила я ее.

— А в университет-то как же иначе, Александра Львовна? Беспартийных-то ведь не принимают!

Марина была расстроена, с трудом сдерживала слезы.

— Пропала я, Александра Львовна!

— Что такое?! Почему?

— Меня исключили из ячейки!

— За что? Что такое?!

— Товарищ Воробьев, секретарь наш, докопался, что мой отец когда-то в полиции служил . . .

— Ну так ведь раньше же знали, что твой отец был в полиции.

— Знали и глядели сквозь пальцы. А теперь Воробьев очень на меня рассердился . . .

— За что?

— Да как вам сказать? . . Приставал он ко мне. Ну я рассердилась и отшила его, как следует . . .

Марина кончила школу и исчезла. Ходили слухи, что она пыталась получить службу, но ввиду того, что отец когда-то служил в полиции, ее не приняли в профсоюз и служить она не могла.

Года через полтора я встретила Марину в Туле в лавке. Она была все такая же хорошенькая, но меня больно поразило, что лицо ее было накрашено, от всего ее существа пахло дешевыми и сильными духами.

— Марина!

— Здравствуйте, Александра Львовна!

— Ну, как ты? Работаешь?

Она не ответила мне. Отвернувшись, она горько заплакала.

ГЛАВА 37

ТЕОРИИ И МЕТОДЫ

И все-таки наша школа «осовечивалась» медленее, чем другие школы. Отчасти это происходило благодаря декрету. ВЦИК разрешил организацию Толстовской коммуны и рас-

пространение в какой-то форме Толстовских идей. И Ленин сказал: «Советская власть может позволить себе роскошь в СССР иметь Толстовский уголок». И каждому местному коммунисту, щерящему зубы на Ясную Поляну, я неизменно приводила эти слова «всемогущего». Они действовали, особенно в первые годы. В школе долгое время не было ни комсомольской, ни пионерской организаций. И хотя религиозно-нравственных вопросов школа не касалась, влияние учителей на ребят сказывалось. Конечно, приходилось и нам идти на компромиссы, но все же мне казалось, что в основном мы не уступим и удержим школу от советского растления. А я принадлежу к тем неисправимым оптимистам, которые из года в год предсказывают падение большевизма.

Помню, Тульский профессиональный союз прислал нам бумагу с предложением добровольно пожертвовать деньги на военный воздушный флот. Сотрудники школы и музея собрались и постановили: ввиду того, что Толстой был против войны, а мы работаем в Ясной Поляне в его память, мы не можем жертвовать на военные цели.

Это постановление произвело бурю среди Тульских партийных кругов. Запрашивали Москву: что делать? Присылали к нам представителя из профессионального союза объясняться, но мы настояли на своем, денег не дали.

Но зато в вопросах не принципиальных, мы добросовестно исполняли предписания центра. Это было нелегко. Одно нововведение следовало за другим. Не успеем мы применить один метод, одну теорию, как вводились другие.

Одним из трудных нововведений было самоуправление в школах. Вводилось оно во всех группах, начиная с детских садов и придавалось ему большое значение. Первым вопросом, при каждом обследовании, каждой ревизии, было: «А самоуправление в школе у вас есть». Отвечали — «Есть!»

— Ребята, кто у вас в самоуправлении? Кто заведует хозяйственной комиссией? Ты? Ну в чем же заключается твоя деятельность?

Крошечная, старательная девочка, с притянутыми розовым гребешком белесыми волосами, захлебываясь и глотая слюну говорила, как заученный урок:

— Я слежу за порядком, выдаю тетради, карандаши...

— Ну, хорошо! А кто заведует санитарной комиссией?

— Я!

— А у самого руки грязные... Ну в чем заключается твоя работа?

— Когда ребята приходят в школу, я осматриваю руки, шею, лицо, слежу за чистотой класса, чтобы пыли не было.

Кампанию за гигиену и чистоту с большим успехом начал известный педагог Шацкий в своем городке. И наша школа старалась не только у себя проводить «навыки чистоты», как это принято было называть, но старалась вводить гигиенические условия жизни через школу в семьи учащихся. Другие школы были подражателями Шацкого и как всякое подражание, это скоро превратилось во что-то обязательное и нудное, как для учителей, так и для учеников. Да и как было вводить все эти правила чистоты и гигиены при ужасающей бедности и нищете крестьянства?

Один раз, осматривая ребят, комиссия чистоты обнаружила, что у одного мальчика, приходившего в школу за три версты из деревни Бабурина, тело покрыто вшами. Не долго думая, комиссия постановила отправить мальчика домой.

Горько заплакал вшивый мальчик. На дворе было холодно, мело. Учительница сжалилась:

— Ну оставайся, только завтра вымойся хорошенько и перемени рубаху.

Но мальчику не давали покоя:

— Вшивый, вшивый! — дразнили его. — Отодвинься, а то и на нас переползут. Вшивый чёрт! Вшивый чёрт!

На большой перемене мальчик не ел, стоял в углу и плакал. Вмешались учителя. Выяснилось, что семья бабуринского мальчика очень бедная, большая, дети — мал мала меньше, этот самый старший. Изба маленькая, с соломенной крышей, тут же и телята и овцы. Родители решили дать старшему образование, собрали ему лучшую одежду. Ситцевая розовая рубаха, которая была на нем, была единственная.

Позднее, в 1925—1926 годах в школе образовалась комсомольская ячейка и самоуправление потеряло всякий смысл. Некоторое время обе организации существовали параллельно и задачи их сталкивались. Постепенно комсо-

мольцы и пионеры вошли в самоуправление. Ячейка запретила выбирать беспартийных. Сначала ребята боролись, умышленно проводя беспартийных, но каждый раз комсомольская ячейка объявляла выбор неправильным и заставляла учащихся голосовать снова. В конце концов ребятам это надоело и самоуправление фактически перешло в руки комсомола.

Не было устойчивости и в методической работе школы: не успевали учителя привыкнуть к одному методу, как его ломали и вводили другой, Немало слез пролили серые провинциальные учительницы, изо всех сил стараясь воспринять премудрость советских методистов. Сплошь да рядом это были несчастные, запуганные, замученные работой люди. Сельская учительница должна была делать всё: вести, иногда одновременно, три группы в школе, участвовать в работе сельсовета, ликвидировать неграмотность среди взрослых, принимать участие в учительских, родительских собраниях, организовывать женотделы, проводить различные кампании, ставить спектакли, выступать с антирелигиозными речами, продавать облигации займов, которые крестьяне не покупали и за которые жестоко ругались... И при этом учительница должна была изучать новые методы, которые через год упразднялись. Безграмотные, жестокие, опьяненные могуществом хамы держали учителей в рабстве.

Помню, у нас в Ясной Поляне была конференция районного учительства. Я открыла собрание, первым попросил слово секретарь Райкома Панов.

— Товарищи! — крикливым голосом привычного советского оратора начал он. — Здесь наблюдается весьма печальное явление. В то время, как советская власть организует собрания, то есть всякие там конференции для помощи и просвещения нашего, так сказать, учительства, учительство не оценивает, товарищи! Я должен констатировать печальное явление. Одна из наших учительниц,— и он назвал фамилию, — так сказать отсутствует. Товарищи! Мы должны в корне пресечь...

— Ребенок у нее умирает, — послышался робкий голос из задних рядов.

— Безразлично, товарищи! Дело это касается, так сказать, советского строительства и для всякого сознательного товарища должно стоять на первом месте. Я предлагаю, товарищи, выразить товарищу учительнице порицание и сделать ей, так сказать, первое предупреждение.

Районное учительство, при горячей поддержке всех яснополянцев, отвергло это предложение, но я не сомневаюсь, что наше заступничество не помешало председателю Райисполкома сорвать злобу на несчастной женщине.

Так называемый «комплексный метод» особенно замучил учительство. Напрасно районные инспекторы созывали одну конференцию за другой, напрасно делали доклады о комплексном методе, проводили показательные уроки, метод не усваивался. Инструкторша нашего района, полуграмотная, тупая, партийная девица была в отчаянии. Она приезжала в Ясную Поляну, присутствовала на уроках, изучала, брала с собой тетради из нашей школы, стараясь как-нибудь освоить этот несчастный комплексный метод.

— Нет, уж пусть лучше ваши учителя делают доклад, — неизменно говорила она на учительских собраниях, — все-таки вы там как-то ближе к центру...

Ну, как мог старый учитель, застывший в глухой деревушке, отказаться от преподавания грамоты, письма, арифметики и начать изучать месяц октябрь, где центральным местом был праздник октября и его значение?

Как «привязать» к октябрю арифметику, например? Учебников «комплексных» еще не было и учителя должны были сами выдумывать задачи. Например: «У кулака до революции было 5 коров, 12 овец, а у бедняка скотины не было. После октября у кулака отняли 3 коровы, 7 овец и передали бедняку. Спрашивается: сколько коров и овец осталось у кулака после октябрьской революции?»

Опытные учителя приспосабливались: комплексный метод проводили для отчетов и инспекторов, а читать, писать и считать учили отдельно. У неопытных дети знали про октябрь, но были неграмотны.

Иногда доходили до нелепостей. На Тульской учительской конференции я невольно подслушала горячий разговор

двух учительниц. Они делились друг с другом своими «достижениями».

— Мы «разрабатывали кошку», — сказала одна, — ничего, удачно, я увязала с кошкой решительно все навыки.

— Ну, а арифметику? — спросила другая.

— Очень просто, мы измеряли кошачьи хвосты.

Но не успело учительство усвоить комплексный метод, как на сцену появился метод целых слов.

— Хоть убейте меня, — говорила старая учительница Серафима Николаевна, — как это можно? Вдруг, букв не знает, а научи его читать. Воля ваша, не могу, не понимаю!

И когда учителя стали его проводить, мы совершенно неожиданно натолкнулись на возмущение крестьян.

— Никуда не годится школа ваша, — говорил мне Телятеньский мужик, — обманная она, вот что!

— Что вы хотите сказать? Почему обманная?

— Учителя в ней обманщики. Два месяца Васька мой в школу ходит, читать не умеет.

— Как так не умеет? Неспособный, может быть?

— Не неспособный, учительница хвалит даже. А обманная школа, вот и все. Намедни пришел, поужинал. Я взял книжку, говорю: «Васька читай!» Читает, без складов читает и бойко. Я и смекнул, в чем дело. Читать не умеет, а прикидывается, слова выдумывает. А ну-ка, говорю, Васька, какая это буква? Так и есть молчит, не знает. Ах ты, говорю, сукин сын, это тебя в школе учат отца обманывать! Снял со стены плетку, спускай штаны, да и надрал задницу, как следует: учи буквы! Учи буквы! Отца не обманывай! Вот она школа-то ваша какая!

И сколько я не объясняла, не понял Телятеньский мужик, что такое метод целых слов.

Одно время московские методисты увлеклись планом Дальтона. Опять посыпались предписания, руководства. Я ездила в Москву в опытно-показательные школы «изучать» Дальтон план. Но мы сразу натолкнулись на серьезное препятствие — недостаток книг и пособий в школе. Не могло быть и речи о лабораторных работах при нищете нашего оборудования наших кабинетов второй ступени.

Нам нужны были микроскопы. Я объездила в Москве все магазины, раз десять бегала в Наркомпрос, мне выдавали отношения с печатями и штампами, направляли куда-то. Я достала один подержанный микроскоп на всю школу.

И какое это было событие! Я привезла его во вторую ступень в большую перемену. Ребята окружили, сдавили меня. Сначала рассмотрели листик.

— Вшей нет ли? — спросила я, в глубине души надеясь, что санитарные комиссии давно уже управились с ними в школе. Но вшей сейчас же появилось с десяток.

— Мамушка родимая! — пищали девочки. — Ну и страшна же она вша-то эта! Лап-то, лап-то сколько! Лохматая!

— Вот, дети, — не приминула использовать случай одна из учительниц, — теперь вы понимаете, какую гадость вы на себе разводите, если не соблюдаете чистоту. Не только сами, но и родителям должны внушить, чтобы они мылись и держали помещение в чистоте.

Этим и кончилось. Микроскоп был широко использован, но о Дальтон плане не могло быть и речи.

ГЛАВА 38

ЛЕС РУБЯТ — ЩЕПКИ ЛЕТЯТ

— Замнарком принимает?

— Сейчас доложу.

— Привычным движением секретарь складывает в папку бумаги на подпись, вдвигает поспешно ящики, захлопывает, быстро и беззвучно распахивает дверь кабинета замнаркома по просвещению и исчезает за дверью.

— Примет, только придется подождать.

Юноша вежливо придвигает мне стул и берется за газету. Но ему не хочется читать газету, ему хочется разговаривать.

— Ну как у вас там в школе?

— Ничего. Только вот вменяют в обязанность приглашение комсомольца, пионер-вожатого.

— Гм, да. Взвесить надо. Вам надо парня, чтобы на ять, ну, одним словом, чтобы понимал задачи, сознательного, а то всю работу вашу может сорвать . . .

— Нет ли у вас кого?

— Трудно, прямо скажу, почти невозможно. Есть ребята здесь, в центральном аппарате, но их мало, да и не отпустят, а дряни этой много, только к вам таких не пошлешь, нет, найти почти невозможно . . .

— А вы бы, товарищ Павел, не пошли бы?

— Да я бы хотел уехать, только партийцы не отпустят. Я ведь крестьянин, родители живут в деревне, я города не люблю.

Казалось, что он был не ко двору, этот спокойный милый юноша среди этой суетящейся, задерганной толпы пресмыкающихся перед начальством служащих Наркомпроса.

Как-то раз я застала его разговаривающим в коридоре с бедно одетой женщиной с двумя детьми.

— Проходите, проходите в приемную, — сказал он мне, — сейчас приду.

— Эх, этот бюрократизм! — начал он, как только вошел. — Тоже коммунстами себя величают. Доклады, приемы, а люди? Какое им до них дело? . . Если бы вы только знали . . .

Я молчала, мне страшно было за юношу и мне хотелось, чтобы он замолчал. Но ему хотелось говорить, излить кому-то свою душу, все наболевшее, что переполняло ее.

— Карьеризм, генеральство, формализм, ничего не видят, да и не хотят видеть, что делается вокруг — беднота, недовольство— презрение к человеку . . . — пылали щеки, темнели серые глаза, шуршали бумаги на столе, которые юноша в волнении разбрасывал.

— Что они для народа сделали? Одну буржуазию уничтожили, а народили новую бюрократию.

Я ушам своим не верила. Здесь, в центре Наркомпроса — главного источника коммунистической пропаганды — комсомолец проповедывал такую «ересь», разводил контрреволюцию. Каждую минуту юношу могли арестовать, приговорить к расстрелу. Но, казалось, ему было все равно.

— Что им благополучие и счастье народа? — продолжал юноша. — Везде горе. Видели женщину с двумя детьми? Она уже раз десять здесь была. Вдова с шестью детьми. Один из них идиотик. Она не может идти на работу и оставлять детей одних, а их ни в один детдом не принимают... Иногда думаю: плюну на все, уйду, будь что будет! Может быть вы...

Но в эту минуту дверь из кабинета замнаркома отворилась и почтительно изогнувшись в приемную проскользнул маленький, смуглый человечек с длинными волосами и громадным портфелем под мышкой.

Послышался звонок. Юноша выпрямился, замер, и сильно тряхнув головой, словно отгоняя назойливые мысли, вошел в кабинет. Он почти тотчас же вышел и схватил телефонную трубку.

— Гараж? Товарищу Эпштейну машину! Срочно! Пожалуйста! — он указал мне на дверь кабинета. — Не более семи минут! Замнарком спешит на заседание.

Мне больше не пришлось говорить с юношей. Люди входили, выходили, приносили бумаги из других отделов для подписи. Секретарь был всегда занят. Только один раз мне пришлось с ним быть наедине несколько минут.

— Я хотел бы поговорить с вами, — сказал мне юноша.

— Очень рада, только боюсь, не могу сегодня: я уезжаю в деревню, но я опять приеду через неделю.

Я думала о нем по дороге домой и мне жалко было, что мне не пришлось с ним поговорить. Мне казалось, по выражению его лица, его грустных глаз, дрожащему голосу, что ему было тяжело и что что-то тяжким бременем лежало на его душе. Но мне не суждено было узнать его тайну.

Десять дней спустя, когда я снова пришла в Наркомпрос, дверь в комнату комсомольца-секретаря была закрыта. Слышно было, что в комнате шло движение, точно передвигали мебель, несколько человек стояли в коридоре и рассказывали что-то друг другу взволнованным шёпотом. Я постояла в нерешительности несколько секунд и постучала в дверь. Никто не ответил. Я спросила чиновника в соседней комнате, что случилось?

— Комнату чистят. Наведайтесь через часок.

Проходя по коридору, я встретила знакомую девушку.

— Вы не знаете, что случилось? — спросила она, видимо горя желанием поделиться со мной сенсационной новостью.

— Нет, не знаю.

— Товарищ Павел, секретарь Эпштейна, застрелился!

— Что?!!

— Да. Пять минут тому назад. В висок. Нашли его сидящим за столом, голова рукой подперта, а бумага вся залита кровью. Сейчас убирают...

Она продолжала болтать... Но я ее больше не слушала...

Я думала о страдающем, задумчивом юноше с грустными, прямо смотрящими глазами. Эти глаза, казалось мне, просили помощи, сочувствия.

«Зачем, зачем ты это сделал?» — мысленно спрашивала я его, вспоминая его крестьянское чистое лицо, непослушный хохол на голове, сильные крестьянские руки.

— Почему он это сделал? — сказала я громко.

— Никто не знает, — ответила девушка, — коммунисты говорят, что работник он был хороший, но партиец был плохой, несознательный.

Трудно было просить этому гордому юноше, сыну губернатора. Опускались глаза с длинными черными ресницами, низко склонялась смуглая голова с коротко остриженными волосами.

— Они говорят, что меня исключили за то, что я не объявил, что мой отец был губернатором. А почему я должен был «им» об этом говорить? «Они» меня не спрашивали. Если бы спросили — я бы «им» ответил правду. Я не мог бы солгать, я не стыжусь...

Юноша гордо поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза.

— Вы думаете, есть надежда? «Они» допустят меня окончить университет?

Он грассэировал — универррситет — и в продолжение всего разговора говорил о коммунистах не иначе, как «они».

— Профессора дали мне блестящий отзыв, говорят, что я могу со временем принести пользу... Надо доучиться, вы понимаете, я говорю вам это не из хвастовства, ведь мне остался еще один год, только один год и я...

Он вдруг сразу осекся, замолчал, кровь прилила к тонкой шее, к лицу, он густо покраснел.

— Вы меня понимаете! Неужели я не буду допущен в университет?

Мне было его жалко. Я бегала от одного зеведующего втузами, вузами к другому — ничего не помогало.

Иногда в глазах одного из этих власть имущих я улавливала тень сочувствия, человеческую нотку в голосе, подобие ласковой улыбки на жестком лице, и я спешила воспользоваться моментом.

— Товарищ, пожалуйста, сделайте исключение! Этот юноша, по мнению профессоров, обещает сделаться выдающимся ученым по химии. Пожалуйста, сделайте исключение! Он может со временем принести пользу Советскому Союзу.

— Невозможно, товарищ Толстая. Он сын губернатора, наш классовый враг. И он злостно скрыл от нас свое происхождение. Мы не можем таким людям давать привилегии. Это нечестно по отношению к пролетариату!

Везде ответ был один и тот же. Юноша меня провожал и ждал меня в коридорах, пока я говорила с власть имущими. Он выделялся среди ожидающей толпы своим умением носить свой старенький опрятный, ловко сидящий на нем, пиджак и своей красивой, высоко поднятой головой. На него оглядывались, девушки смотрели на него с интересом. Но «они» — коммунисты косились на него.

— Опять отказ? — спрашивал он меня.

— Да.

— Вы думате, безнадежно?

— Посмотрим, я хочу еще раз пройти к замнаркому.

— Спасибо. Знаете что? Я еще хожу в университет. Если меня примут, то фактически у меня нет пропусков. Как вы думаете, это хорошо? Да, я забыл вам сказать. Мои родители вам так благодарны.

— Как они?

— Плохо. Отец не ходит; нога его не лучше. Мама ничего, спасибо! Но вчера она была очень расстроена: продуктовые карточки отняли. Не знаю, как теперь мы будем доставать продовольствие. Вы знаете, как дорого все на базаре, да и достать трудно. Теперь они грозят, что выгонят нас из квартиры. Ах, только бы мне университет окончить, тогда все будет хорошо.

Прошло три недели, пока я добилась Замнаркома по просвещению. Юноша несколько раз приходил ко мне узнать, что мне удалось сделать. Он сильно похудел, побледнел, пропала его обычная бодрость.

Да и я чувствовала, что положение безнадежное.

Мой разговор с Замнаркомом был краткий.

Когда я стала излагать ему мою просьбу, он резко меня оборвал:

— Зря тратите время, гражданка. Мы не можем его принять. Неужели вы думаете, что одной рукой мы будем уничтожать наших врагов, а другой будем им предоставлять привилегии: возможность учиться и занимать хорошие места в ущерб товарищам из рабочих и крестьян?

— Но это совершенно исключительный случай. Выдающийся талант. Вы же нуждаетесь в научных работниках...

— Простите, товарищ Толстая! Вы знаете поговорку: «Лес рубят — щепки летят». У нас достаточно талантов среди пролетариата...

Вечером Федя пришел ко мне.

— Мой профессор мне сказал, что если бы Горький согласился просить за меня...

— Федя, — сказала я, делая страшное усилие, чтобы решиться сказать ему правду, — я была у Замнаркома сегодня, надежды нет.

Сердце разрывалось на части. Я взглянула на юношу. В глазах его было отчаяние.

— Никакой... надежды?..

— Нет, в настоящее время никакой, я думаю...

— Боже мой... что же мы, я...

Слова застряли в горле. Он не то поперхнулся, не то закашлялся и выбежал из комнаты.

ГЛАВА 39

Я ХОДАТАЙ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЛАМ. ГПУ

Когда я приезжала в Москву, телефон звонил с утра до вечера. По ошибке арестовали профессора; земский врач находился под угрозой ссылки; схватили заведующего музеем из аристократов; разгоняли бывший монастырь, превратившийся в трудовую коммуну; ссылали кого-то за сатиру против советской власти; священнику грозили расстрелом за слишком сильное воздействие на паству; собирались снести церковь, где венчался Пушкин...

В памяти был длинный лист всех тех дел, о которых надо было хлопотать в промежутках между своими прямыми обязанностями: найти хоть один или два микроскопа для школы, что было нелегкой задачей и найти их можно было только у старьевщиков, просить Наркомпрос об увеличении ссуды на учебные пособия; просить Музейный Отдел об увеличении сметы на ремонт крыш в усадьбе; отыскать преподавателей, которых всегда нехватало в Яснополянской школе; присутствовать на конференции; посмотреть работу по Дальтон плану в 14-й школе Моно и прочее и т. п.

Заранее надо было обдумать, в каком учреждении и у кого хлопотать по тому или иному делу.

О сохранении церкви, в которой венчался Пушкин, надо было хлопотать у Смидовича, заместителя Калинина. Он интеллигент и скорее поможет в этом деле. И действительно, Смидович помогал. Выслушивал просьбы спокойно, не перебивая, долго и обстоятельно расспрашивал, думал, мечтательно подняв кверху добрые, голубые глаза.

А я смотрела на него и думала: «Как он может? Как он может с ними работать, не понимает? Не видит?»

— Ах, как я устал, — говорил он иногда, — как хотел бы я сейчас в деревню, жаворонков послушать! — и страшная тоска слышалась в голосе.

Я бывала у него часто и каждый раз поражалась, как он быстро дряхлел: покрывались сединами голова и короткая бородка, появлялось все больше и больше морщин на измученном широком лице.

С некоторыми просьбами я обращалась к добродушному и недалекому грузину Енукидзе — секретарю ВЦИК. Он всегда добродушно улыбался и редко отказывал, и мне удалось, благодаря ему, многих вытащить из тюрьмы.

Но чаще всего я обращалась в Менжинскому и Калинину.

Один раз я ездила к Менжинскому с Верой Николаевной Фигнер.

Насколько я помню, мы хлопотали за арестованных членов Кооперативного издательства Задруга. Задругу, как и другие культурные начинания частного характера, разгромили, и бывшие члены ее преследовались. Может быть их арестовывали в связи с отъездом бывшего председателя Задруги историка С. П. Мельгунова, написавшего уже за рубежом книги «Красный Террор», «Колчак» и другие.

Никогда не забуду лица Веры Николаевны Фигнер, когда мы с ней входили в кабинет Менжинского. Сколько гордости, достоинства было в ее аристократическом, когда-то должно быть очень красивом, лице, когда мы получали пропуск в комендатуру ГПУ. Годы одиночного заключения не согнули ее гордую голову.

Нам пришлось подняться на третий этаж. Красноармеец почтительно показывал нам дорогу. В конце длинного коридора открылась дверь, раздвинулись тяжелые портьеры. Менжинский стоял на пороге.

— Очень рад, что имею удовольствие видеть вас у себя!

Вера Николаевна не склонила головы, не ответила.

— Ведь было время, когда мы вместе работали с вами, — продолжал Менжиский, — помните . . .

— Да, вы тогда писали . . .

— Да, я был писателем тогда . . .

— А теперь? . . К сожалению, вы переменили свою деятельность, — продолжала Вера Николаевна, не замечая протянутой руки, — и . . . мы уж больше с вами не товарищи . . .

На секунду протянутая рука повисла в воздухе, тень пробежала по лицу чекиста, но он не убрал протянутой руки, а сделал вид, что указывал ею в глубь комнаты.

Бесшумно ступая по густым коврам, мы вошли в комнату.

— Пожалуйста, садитесь!

Возможно, что Менжинский обиделся на обращение с ним В. Н. Фигнер; сотрудники «Задруги» были освобождены гораздо позднее.

Следующую мою просьбу, хотя я далеко не была в этом уверена, Менжинский исполнил.

Ко мне пришел писатель, я знала его по работе на фронте в Земском Союзе. Он только что приехал из Сибири. Работал у Колчака, потом скрывался в Москве.

— Я хочу легализироваться, — сказал он, — не можете ли вы помочь мне?

Я задумалась.

— А вы согласны рисковать?

— Я думаю, что без этого нельзя.

И вот я опять в кабинете заместителя председателя ОГПУ, Вячеслава Рудольфовича Менжинского. Он всегда был со мною любезен. Почему? До сего времени мне это непонятно. Я не верю, чтобы у него было уважение к Толстому, и что поэтому он относился ко мне снисходительно, желая себя уверить, что и они уважают культурные ценности России — русских писателей, художников. А может быть этих, у власти стоящих людей, могущих каждую минуту раздавить меня, забавляла моя откровенность, граничащая с дерзостью, которой я сама себя тешила, разговаривая с ними.

Помню, как однажды, войдя в кабинет к Менжинскому, я начала свою просьбу словами:

— Долго ли вы будете продолжать заниматься этим грязным делом? Казнить ни в чем неповинных людей? Ведь должен же наступить конец этой бессмысленной жестокости?

Любезная улыбка застыла и взгляд хитрых маленьких глаз из-под песнэ сделался острым, жестким.

— ГПУ перестанет существовать, как только мы уничтожим контрреволюционные элементы в стране!

На этот раз в моих руках прямая ответственность за жизнь хорошего умного человека, известного писателя, и я должна быть очень осторожна.

— Чем могу служить? Говорите, только не задерживайте. Пришлось работать всю ночь — устал, — бросает он вскользь.

Менжинский не похож на жандарма. Интеллигентский клок волос свисает на лоб, лицо подвижное, скорее красивое, но чем-то напоминает лису.

— Вячеслав Рудольфович, — говорю я, — трудно верить заместителю председателя ГПУ, когда вопрос касается политических, но я пришла к вам сегодня с полным доверием и я верю, что вы мне ответите тем же.

— Гм... Почему же это нам трудно верить?

Глаза мои встретились с маленькими, хитрыми глазками поляка.

— А что если бы я просила вас помиловать человека, участвовавшего в белом движении?

— Многое зависит от того, кто он, где он сейчас, чем занимается!

Жесткие глаза кололи, гипнотизировали.

— Представьте себе, что этот человек далеко, скрывается под чужим именем, но хочел легализироваться...

— Весьма возможно, что мы пойдем ему навстречу... если он надежный, если мы узнаем, что он искренно раскаялся в своей контрреволюционной деятельности. Но ведь для этого я должен знать!

И чем сильнее сверлили острые глаза, стараясь внушить, напугать, тем сильнее росло во мне внутреннее противодействие. Напряжение дошло до крайних пределов.

— Я вам ничего не скажу, даже если бы вы арестовали, пытали меня, пока вы не дадите мне честное слово, что вы этого человека не тронете, если я назову его вам.

— А чем он занимается? Где он сейчас?

Я молчала. Допрос продолжался около часа.

Наконец я встала, собираясь уходить.

— Подождите!

Менжинский с минуту колебался.

— Он активно участвовал, сражался против красной армии?

— Нет.

— Извольте, я даю вам слово, что я его не трону.

— Не посадите в тюрьму, не сошлете, не казните?

— Нет.

Я назвал фамилию писателя. Менжинский эту фамилию знал.

— Где он?

— В Москве.

— Скажите ему, чтобы он завтра ко мне явился.

— Хорошо.

Он написал пропуск и подал мне.

Менжинский сдержал слово. Писатель получил бумаги, остался жить в Москве и стал заниматься своей литературной деятельностью.

ГЛАВА 40

«РЕЛИГИЯ — ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА»

Мы все — дети, музейные работники, учителя, крестьяне — жили двойной жизнью годами. Одна жизнь — официальная, в угоду правительству, другая — своя, которая попиралась и которую мы скрывали в глубине своего существа. Даже дети научились фальшивить.

Учитель обществоведения, по долгу своей службы, на собраниях в совете, в школе, на митингах, днем громил религию, кощунствовал, а ночью пел молитвы.

Чтобы забыться, заглушить в себе голос подсознательно поющий молитвы, учитель все с большим и большим жаром отдается работе и в горячке деятельности сам не замечает того, что он все больше и больше подлаживается и теряет то свое настоящее, что было в нем. Он с подобострастной улыбкой встречает ничтожного комсомольца или члена партии, лебезит перед ним и в своей угодливости, в безумном страхе перед возможностью преследования, потери должности; он все больше и больше становится ничтожеством.

В первой ступени ребятам не хочется петь Интернационал и они упрекают учительницу за то, что она заставила их это делать. Во второй ступени, на вопрос заместителя Наркома по просвещению, Эпштейна: ходят ли они в цер-

ковь, ребята разражаются бурным смехом, а вместе с тем я почти уверена, что многие из них ходили в церковь и изводили учителей вопросами о вере, Боге и т. п.

В школе были убежденные атеисты, но были и верующие. Каким-то чутьем ребята угадывали, кто из них верит в Бога, и они нередко ставили учителей в трудные положения.

Помню, однажды, во время одного из своих посещений Телятеньской школы первой ступени, я услыхала страшный шум в третьей группе. Я вошла. Среди класса стоял совершенно растерянный учитель, Петр Николаевич Галкин. Ученики же кричали, требовали . . .

— Александра Львовна, как хорошо, что вы пришли! — сказал учитель. — Пожалуйста скажите им, есть ли Бог или нет.

— Ну конечно есть, ребята! — сказала я.

— Ну, что мы ему говорили! — загалдели вдруг ребята. — А вот он, — и один из мальчиков указал на пионера с красной повязкой вокруг шеи, — говорит, что Бога нет!

И опять поднялся страшный шум.

— Нам товарищ Ковалев все растолковал! — кричал пионер. — Только буржуи верят в Бога, а попы нарочно затемняют народ и потом грабят его.

Я вышла из класса через час.

Ребятам все надо было знать: верю ли я по православному? как верил мой отец? все ли попы были жадные? верю ли я в будущую жизнь?

Учитель был смущен. Он проводил меня по коридору.

— Ничего это, Александра Львовна? Вы так смело говорили?!

— Не знаю.

Да и по правде сказать, мне было все равно. Ну закроют школу, выгонят. Может быть это и лучше. В ушах звенели возбужденные детские голоса, я видела их горящие, любопытные глазенки, я сознавала, что своим трусливым молчанием мы лишали их самого главного.

— Так куда же заезжал Гоголь, ребята? — спросила учительница литературы у старшей выпускной группы. — Ну, путешествовал он по Европе, а затем, куда же он ездил?

Молчание.

— Он заезжал в Палестину. Вы же знаете Палестину? Чем она знаменита?

Опять молчание.

— Ну, кто же жил в Палестине?

— А кто его знает, святой какой-то, как его . . .

Имени Христа никто «не знал».

Что толку в том, что у нас не велась антирелигиозная пропаганда. Весь программный материал в школах был начинен материалистической психологией. А как только в беспросветной мгле этой неудобоваримой, затемненной путаницы ребята сами пробивались к свету, мы против собственных убеждений толкали их обратно во тьму.

Что толку было в том, что мне удалось не иметь в нашей школе уголка безбожника со всегдашним непременным атрибутом этих уголков — изображением толстопузого, красноролсего попа, Христа в кощунственном виде, антирелигиозных, грубых и мерзких стихов Демьяна Бедного и т. п.?

Губернский и районный комитеты партии обращали сугубое внимание, в отношении антирелигиозной пропаганды, на Ясную Поляну. Ставили кощунственные, осмеивающие религию пьесы и кинематографические фильмы в Народном Доме, читали лекции на антирелигиозные темы, вели пропаганду через комсомольскую ячейку.

Сначала комсомольской ячейки не было в самой школе, и наши школьные комсомольцы входили в деревенскую ячейку. Но позднее была организована специальная, школьная ячейка и секретарем ячейки был назначен ученик из старшего класса.

Комсомольцы требовали организации уголка безбожника в школе. Комсомольцы-школьники теперь вели уже пропаганду на деревне. Под Пасху, под Рождество, вообще под большие религиозные праздники комсомольцы-школьники устраивали вечера в Народном Доме, посвященные антирелигиозной пропаганде. Крестьяне постарше отплевывались, возмущались бессовестным кощунством молодежи, девки же и молодые ребята рады были всякому зрелищу и посещали Народный Дом. Иногда в сочельник молодежь гуртом отправлялась в церковь, пела кощунственные песни в ог-

раде под окнами церкви, в то время, как внутри шла служба...

И все чаще и чаще в голову закрадывалась мысль: «Хорошо ли я сделала, что организовала школы? Не было ли все это страшной, непоправимой ошибкой?»

Я отводила душу в Музее.

В праздники мы пропускали несколько сот посетителей через музей: советские служащие, рабочие, красноармейцы, учащиеся.

Пропускались посетители группами не более двадцати человек. Шума не допускалось. Старик Илья Васильевич вел книгу записей.

— Пожалуйста, товарищи, из уважения к памяти Льва Николаевича снимите головные уборы! — говорил он.

Это сразу же создавало какое-то особое настроение торжественности.

Самые серьезные посетители — рабочие и красноармейцы.

Самые пустые — советские служащие, особенно советские барышни.

Рабочие и красноармейцы знали про Толстого, кое-что читали, всегда задавали серьезные значительные вопросы. Советские служащие большей частью ничего не читали и трудно было давать им объяснения: приходилось ограничиваться биографическими сведениями.

Для большинства молодых рабочих было совершенно неизвестно отношение Толстого к рабочему народу. Они не имели понятия о его статьях: «Не могу молчать», «Единое на потребу», «Так что же нам делать?», «К рабочему народу» и других. Громадное впечатление производила на этих посетителей стеклянная глыба — подарок рабочих Мальцевского завода — с трогательной надписью: «Вы разделили участь многих великих людей, идущих впереди своего века. Раньше их жгли на кострах, гноили в тюрьмах и ссылке. Пусть отлучают вас, как хотят и отчего хотят фарисеи, первосвященники. Русские люди будут всегда гордиться, считая вас своим великим, дорогим, любимым!»

Помню один серьезнейший резговор, происшедший между мной и группой красноармейцев, желавших во что бы то

ни стало понять религиозные убеждения Толстого. Разговор зашел настолько далеко, что мне пришлось напрячь все свои умственные силы, чтобы дать исчерпывающие ответы.

К сожалению, у меня почти что не сохранилось отцовских религиозно-философских брошюр, достать же их было невозможно. Они не только не издавались, но были запрещены во всех народных библиотеках. Но я всё же отыскала у себя несколько книг и дала им.

Помню группу учеников Тульской совпартшколы. До этого посещения, может быть потому что наш враг Чернявский был с ними связан, я боялась этого учреждения.

С некоторым трепетом я стала показывать Музей. Начала, как всегда, с залы, рассказывая им про предков отца, перешла на крепостное право, на отношение к нему отца и с первых же слов почувствовала, что ребята заинтересовались. И, как это иногда бывает неизвестно почему, между нами вдруг установилось какое-то понимание и дружественная связь.

Я задержалась с ними дольше обыкновенного. Когда мы перешли в гостиную, я указала им на книгу «Мысли Мудрых Людей», лежавшую на столе и объяснила, как отец каждое утро читал изречение на данный день.

— Это было его молитвой . . . — сказала я и вдруг спохватилась, вспомнив что для совпартшкольцев молитва есть что-то отвратительное, опиум для народа, как они говорят. Я взглянула на ребят. Но они все слушали серьезно и проникновенно.

— Давайте, и мы последуем примеру Льва Николаевича, — сказала я, — и прочтем изречение на сегодняшний день.

Изречение оказалось из Евангелия.

— Кто написал эти прекрасные слова? — спросил меня один из учащихся.

— Это слова Христа, — ответила я.

— Не может быть! — воскликнули ребята. — Христос не мог этого сказать! Да и существовал ли он? Нас учили, что его никогда и не было . . .

Ни один из двадцати юношей никогда не читал Евангелия! Я принесла им Евангелие, переложенное отцом, я при-

несла им «Христианское учение», «В чем моя вера» и другие брошюры.

Мы распрощались очень сердечно, юноши ушли. Я стала показывать музей следующей группе.

После обеда мне надо было сходить в школу. Проходя мимо парка, я опять увидела совпартшкольцев. Они лежали в кругу на траве и один из них громко читал «Евангелие!»

Но вскоре этим свободным разговорам должен был прийти конец. У меня было все меньше и меньше времени для того, чтобы давать объяснения посетителям Музея, а сотрудники, боясь коммунистов, ограничивались чисто внешними объяснениями.

В Музейном Отделе Наркомпроса становилось все меньше и меньше беспартийных интеллигентных работников, коммунисты требовали марксистского освещения Толстого при даче объяснений в Толстовских музеях.

ГЛАВА 41

ЭКСПЛУАТАТОРЫ

— Это невозможно, товарищ!

— Не невозможно, а будет именно так, как я говорю! Что же вы считаете правильным, чтобы вы занимали комнату, сотрудница — другую, а чтобы рабочий с детьми оставался выкинутым на улице?!

— Но вы же понимаете, что если вы займете мою комнату, и в ней поселятся отец, мать и трое детей, то даже если я смогу ночевать в квартире, заниматься уже нельзя будет.

— То есть как это нельзя будет? Почему же?

— Потому что ученые не смогут заниматься, когда рядом в комнате будут кричать трое ребят!

— Знаете что, товарищ Толстая, вы эти буржуазные замашки бросьте, прошло то время, когда эксплуататоры могли привередничать! Рабочий с семьей не может оставаться

на улице, у вас места много, и мы его вселим. И кончен разговор!

И председатель домового комитета круто повернулся и вышел, хлопнув дверью.

Он был коммунистом этот новый председатель домового комитета. Все боялись его, а он делал, что хотел, выселял из квартир, вселял . . . В некоторых квартирах ютились уже по три-четыре семьи в четырех комнатах.

Что было делать?

Жить и работать над рукописями, при условии что в крошечную квартирку с маленькой кухней вольется семья в пять человек, было немыслимо.

И я снова летела к Калинину во ВЦИК и, только заручившись охранной грамотой, избавилась от опасности вселения.

Но не успела я расхлебать одну беду, как совершенно неожиданно на меня свалилась новая. И предвидеть, с какой стороны надвигалсь опасность было невозможно.

Служила у нас в правлении уборщицей кроткая тихая, и, кажется, очень приличная девушка Дуня. Попутал ее лукавый и стащила она у меня последние мои золотые вещи, оставшиеся от матери. Я уличила ее.

Она плакала, извинялась, я охотно простила ее, но попросила уйти. На другой день она отправилась в союз и к вечеру заявила мне, что с квартиры не съедет, а на третий день я узнала, что она подала на меня в суд за то, что я заставляла ее работать больше восьми часов, что, разумеется, было неправдой.

Я умоляла Дуню взять назад ее заявление в суд, так как она вынуждала меня в свою очередь подать на нее жалобу о воровстве, но, повидимому, Дуня подпала под чье-то сильное влияние. Она стала дерзка, нахальна и не хотела меня слушать.

И вот у меня в квартире оказался человек, меня обворовавший, на меня же подавший в суд, с которым мне приходилось жить в тесной квартире, пользоваться одной с ней кухней, одной ванной. И не было возможности избавиться от этого человека иным путем, как только подать на нее в суд за воровство.

Прошло несколько недель. Наконец назначен был суд: должны слушаться два дела с уборщицей Правления — одно — иск уборщицы за переработку и второе — мое обвинение ее в воровстве.

— Граждане судьи! — с пафосом говорил Дунин адвокат, тип старого адвоката, не сделавшего карьеры и старавшегося теперь хоть не умереть с голода. — Граждане судьи! Кто из вас не читал «Воскресенья» Толстого? Кто из вас не знает Катюшу Маслову? Граждане судьи! Перед вами сейчас эта Катюша Маслова. Кто она? Что она? (Тут следовала бесконечно длинная характеристика Дуни). И вот перед вами обвинительница, бывшая буржуйка, графиня, не унаследовавшая, повидимому, простоты и мудрости своего великого отца! Она, эта недостойная дочь великого отца, хочет засадить эту несчастную, беззащитную представительницу эксплуатируемого класса . . .

Дуня рыдала. А я была уверена, что мне придется свековать с Дуней на одной квартире!

У меня адвоката не было. Я говорила сама за себя. И защитительная речь моя была очень короткой.

— Граждане судьи! сказала я. — Товарищ защитник не учел одного обстоятельства! (Я чувствовала свою подлость, но надо было как-то спасать положение). — Катюшу Маслову судил суд царский. Подавая же жалобу на Евдокию Дутлову, я знала, что суд советский отнесется к ней милостиво. Я не желаю, чтобы ее наказывали за те вещи, которые она взяла у меня. Я желаю только, чтобы ее выселили из моей квартиры, так как мне неприятно стало с ней жить. Что же касается переработки, то ведь прежде гражданка не жаловалась на переработку, а пожаловалась только после того, как украла у меня вещи . . .

И суд советский, «справедливый и милостивый», дал ордер о выселении гражданки Дутловой и освободил ее от ответственности за кражу.

Да, трудно было не лгать живя в Советской России, но чтобы спасти работу, иногда даже свою и чужую жизнь — все мы лгали. И совесть растягивалась, как резина . . .

ГЛАВА 42

ТОВАРИЩ СТАЛИН

Не только опасность превратиться в обыкновенные советские учреждения, но и опасность разгрома постоянно висела над Толстовскими учреждениями.

Толстовский Музей, директором которого я была назначена после отъезда сестры Тани за границу, был в лучших условиях, так как находился под защитой центра. Ясная же Поляна была под постоянным наблюдением нескольких десятков местных коммунистов. Как мухи вились они над усадьбой, стараясь найти слабые места в нашей организации, в которые можно было бы нас ужалить. И хотя я и отмахивалась от них постановлением ВЦИК'а и каким-то мифическим договором между ВЦИК'ом и мною, тем не менее я не переставала ни на минуту ощущать грозящую нам опасность.

Мысль о праздновании столетия со дня рождения отца (1828—1928) явилась у нас главным образом, как самозащита. Коль скоро Советы согласятся устроить празднование, пригласить иностранных делегатов, и удастся даже и заграницей нашуметь этим юбилеем, Советам придется некоторое время считаться с именем Толстого и таким образом нам удастся сохранить Толстовские учреждения в неприкосновенности.

Мы подали докладные записки и сметы еще в 1926 году. План был разработан грандиозный:

Издание Госиздатом совместно с редакционной группой Черткова и Товариществом Изучения Творений Толстого первого Полного собрания сочинений отца, в 90—93 тома. Сюда должно было войти все пропущенное ранее цензурой: его дневники, письма, неизданные произведения, варианты и прочее.

Реорганизация Толстовского Музея, перевод его в каменное здание, пополнение коллекций и прочее.

Ремонт зданий в Ясной Поляне, дома Музея, флигеля, бывшего скотного двора, построенного Волконским, восстановление всего дома Музея в прежнем его виде и к моменту ухода отца из Ясной Поляны (1910 г.) Постройка школы-памятника Толстому, больницы, общежития для учителей и многое другое.

Был назначен специальный юбилейный комитет под председательством Луначарского. В него вошли Чертков, Гусев, представитель от яснополянского крестьянства, председатель тульского Губисполкома, профессор М. Цявловский и другие. Комитет должен был продвигать все сметы в ВЦИК'е и Совнаркоме, быть главным инициатором всего юбилейного дела. Но на самом деле комитет собрался раза два-три, и почти ничего не сделал.

Да и трудно было что-либо делать. Денег не было. Хозяйство Ясной Поляны, в 1925 году перешедшее от Артели в ведение Музея-Усадьбы, едва-едва себя окупало. С самого начала существования Наркомпрос был всегда самым бедным ведомством. Сметы подавались из года в год, но удовлетворялись лишь в малой части.

Первое крупное ассигнование на школу было сделано в 1925/1926 сметном году. Вместо того, чтобы строить школу, я закупила рощу в Калужской губернии и поручила агенту по лесным заготовкам заготовку дров. На следующее лето 1926 года мы вызвали юхонцев * из Калужской губернии и приступили к выделке и обжиганию кирпича.

Наркомпрос был поставлен в тупик, когда получил отчеты о заготовке нескольких вагонов леса и выработке кирпича. По всей вероятности, ни одна школа не представляла еще подобных отчетов. Я представила доказательства, что на Тульских заводах кирпича купить нельзя было, и цена его была, вместо прежних довоенных 7 рублей, 70—80 рублей тысяча; и Наркомпрос объяснениями моими удовлетворился.

Сделали миллион кирпича, вывели стены и опять не хватило денег. Рабочие руки стоили недорого, но заработная

* Специалисты по выделке кирпичей.

плата рабочих увеличивалась чуть ли не на сорок процентов надбавками: на спецодежду, страхование, союз, банные деньги, культурно-просветительные расходы и прочее. С рабочими были постоянные неприятности. Партийцы из профсоюза строительных рабочих то и дело наведывались и возбуждали рабочих против заведующего работами: то не выдали спецодежду вовремя, то переработали, то жалованье уплатили не по тому разряду.

Я металась со сметами между Ясной Поляной и Москвой. С одного заседания на другое. То по издательству Полного собрания сочинений, то по Толстовскому Музею, то по Товариществу Изучения Творений Толстого, в Ясной Поляне школьные совещания сменялись совещаниями по детским садам, по музею, по организации больницы.

А денег все не было.

Наконец я решила во что бы то ни стало добиться толка. Надо было увидать Сталина.

Мне пришлось съездить несколько раз в Москву, прежде чем я добилась аудиенции. Любезный секретарь каждый раз находил какую-нибудь причину, чтобы Сталин меня не принял.

Но я настойчиво добивалась своего.

ЦК партии помещается в большом доме в одном из переулков около Никольской. Внизу у входа меня остановили.

— Простите, товарищ, разрешите осмотреть ваш портфель.

— Пожалуйста.

Под щупающими глазами красноармейца я вошла в подъемную машину.

— К товарищу Сталину? Сюда, пожалуйста!

Маленькая приемная. Кругом три кабинета: Сталина, Кагановича и Смирнова.

Очень любезная, немолодая секретарша.

— Немного подождите. Товарищ Сталин занят.

Бесшумно отворяющиеся двери. Посетители направляются большей частью ко второму секретарю Кагановичу. Чувствуется, что он играет крупную роль, гораздо крупнее, чем третий секретарь Смирнов.

Я не слыхала как открылась дверь и вошел секретарь Сталина — молодой, необыкновенно приличного вида, человек.

— Пожалуйста!

Громадная, длинная комната, и в конце ее одинокий письменный стол. Сидевший за столом человек поднялся и, обойдя стол слева, пошел мне навстречу.

— Садытесь пожалуйста! — сказал он с кавказским акцентом. — Чем могу служить?

Я сказала ему о предполагаемом юбилее, об общем плане и необходимых средствах для осуществления этого плана.

— Для меня важно решение вопроса, — сказала я, — будем ли мы что-либо делать или нет? Если да, то нужно немедленно провести ассигновки. Если не будем, то так мне и скажите, но я тогда не несу никакой ответственности...

— Сумму, которую юбилейный Комитет просит — не дадим. Но кое-что сделаем. Скажите, какую минимальную сумму нужно, чтобы осуществить ну... самое необходимое.

Как я вспомнила, Комитет первоначально запросил около миллиона рублей. Я быстро прикинула, что нам нужно в первую очередь: достроить школу, больницу, общежитие для учителей, ремонтировать такие-то здания и сказала ему.

— Хорошо, постараемся.

Для меня было ясно, что ему хотелось чтобы я скорее ушла. Толстой, толстовские учреждения были ему безразличны. Большевики смотрели на этот юбилей, как на средство пропаганды за границей и думали о том, как бы им отделаться от этого подешевле.

По внешности Сталин мне напомнил унтера из бывших гвардейцев, или жандармского офицера. Густые, как носили именно такого типа военные, усы, правильные черты лица, узкий лоб, упрямый энергичный подбородок, могучее сложение и совершенно не большевистская любезность.

Когда я уходила, он опять встал и проводил меня до двери.

ГЛАВА 43

ВЫБОРЫ

Мужики редко приходили на усадьбу, а коли приходили, то все больше по делу. В школу они тоже не любили ходить. Разве только, когда мы ставили спектакли, устраивали концерты.

Разговоры всегда сводились к одному: «Ну как, Александра Львовна, большевики-то скоро кончатся?» Точно про погоду спрашивали: «Как слышно, погода-то скоро установится?»

— Никаких сил уже не стало. Терпеть невозможно! — говорил один. — Вот коллективы эти пошли таперича. В коллектив пойти — неохота, не пойти — все равно житья тебе не будет. Лучшую землю — коллективу, луга — коллективу, лес — опять все коллективу . . . А знаете, кто первый пошел? Самая рвань! Ванька Баран, пьяница, безобразник, Бориска хромой, тоже лодырь, пьяница. Ну Тит Иванов, тот по нужде, никак нельзя ему иначе, а то за кулака сочтут . . . Но и Тит Иванович уже спохватился, да поздно: дом у него каменный, двухэтажный, как он его на коллективную землю переносить будет? Войну хушь бы Бог послал . . .

— Не греши, Бог войны не посылает. Все это зло от людей . . .

— Это хушь правильно, а только мы так думаем . . . Коли война . . . оружие-то в наших руках будет. Так неужели ж мы японца там или немца бить пойдем . . . В Кремль — прямая дорога . . .

Как-то два крестьянина пришли ко мне.

— Хотим проводить своего председателя в потребиловку.

— Кого же?

— Да Ивана Алексеева. Только трудно. Партийцы своего кандидата выставляют.

— Ну что ж, попробуем. Ивана Алексеева мы поддержим.

Когда я пришла в Народный Дом, он был переполнен. Люди толпились у входа, крича и переругиваясь.

— В чем дело? — спросила я, проталкиваясь вперед.

— Да такая буза идет. Обвиняют комсомольскую ячейку, что они колбасу и баранок обещали, кто за партейного ихнего голосовать будет...

Мужики выбрали меня в президиум и как-будто всё успокоилось. Собрание шло гладко, только под конец мужики опять заволновались. Они заметили, что часть наших школьников, комсомольцев не достигших еще совершеннолетия, также принимала участие в голосовании. Мы начали протестовать, но партийцы и комсомольцы подняли страшный шум, доказывая, что ребята имели право голосовать. Мы не стали спорить, тем более, что было очевидно наличие громадного большинства на нашей стороне. Я пробовала убедить учеников не голосовать, но это было бесполезно — они обязаны были исполнять предписания своей ячейки.

Несмотря на это и на то, что часть населения действительно была подкуплена продуктами — все наши кандидаты прошли. Мужики даже настолько осмелели, что выбрали меня товарищем председателя.

На другой день новое правление собралось в полном составе. Мы уже мечтали о том, как и где мы будем закупать товары, чтобы снабдить население всем необходимым, как вдруг пришла бумага из Тульского Потребсоюза, в которой было сказано, что ввиду того, что при выборах правления были допущены некоторые неправильности, считать выборы нового правления недействительными и правление переизбрать. Неправильность, допущенная на общем собрании заключалась в том, что в выборах участвовали несовершеннолетние.

— Ну и сволочь же! — втихомолку ругались мужики. — Ведь сами же, черти, доказывали, что ребята имеют право голосовать, а теперь ишь как перевернули. Это все этот сукин сын мутит — Воробьев... И когда это, Господи, все кончится?!

— Бороться надо, — говорила я, с трудом сдерживая возмущение, — попробуем еще раз провести своего кандидата.

— Нет, уж видно придется мне свою кандидатуру снять, — говорил Иван Алексеев, — все равно они мне житья не дадут, еще упекут куда-нибудь.

Но мы уговорили Ивана Алексеева и решили еще раз попытаться провести его кандидатуру.

На этот раз собралось гораздо меньше народа.

Мне сразу бросилось в глаза, что два первых ряда с левой стороны были заняты незнакомыми девками. Они грызли подсолнухи, плевали на пол шелуху и пересмеивались.

— Чьи это? — спросила я у Ивана Алексеева. — Как-будто не наши, не яснополянские...

— Казначеевские. Говорят товарищ Тимошин, ихний секретарь ячейки, тридцать девок в члены потребиловки записал, чтобы за ихнего партейного голосовали.

С правой стороны передние ряды были заняты незнакомыми людьми, большей частью в кожаных куртках и с портфелями. Было несколько человек из тульской совпартшколы и местные Щекинские власти: председатель райисполкома, секретарь райкома и другие. И хотя они и не были членами нашего кооператива, они принимали участие не только в прениях, но и в голосовании.

— Всех своих партейцев нагнали, — шептали мужики, — с ними бороться нельзя, дело тапереча наше пропащее.

Действительно, борьба оказалась совершенно бесполезной. Председателем был выбран командированный из Тулы коммунист.

Я была страшно возмущена и поехала объясняться к секретарю Губкома.

«Ведь должна же быть какая-то самая примитивная честность и порядочность у руководителя целой губернии», — думала я.

Я рассказала секретарю Губкома про выборы: подкупы крестьян, передержку в голосовании, неправильный подсчет голосов. Он резко перебил меня:

— Ну и что же? Что вы хотите? Ведь в конце концов выбрали коммуниста...

— Да, но выборы были неправильные...

— Ну и что же?! Цель достигнута. Молодец Тимошин! Это только доказывает, что ребята наши работают на ять!

А что им пришлось пуститься там на разные хитрости, так без этого нельзя! «Цель оправдывает средства!»

Крестьяне перестали приходить на выборы.

— Чего мы пойдем? Уж двенадцатый год эту комедь ломаем: в советы, в кооператив выбираем. Будет уж . . . Теперь прислали нового в кепочке, третью неделю должно по деревне окалачивается, ну и пусть его будет председателем, а чего нам собираться, время зря проводить.

И когда звонили в колокол, собирая народ, на собрание никто не шел.

Наконец собрали человек двадцать комсомольцев и выбрали товарища в кепочке председателем кредитного товарищества.

Декорум выборов продолжали соблюдать, но свободное выборное начало было убито. Постепенно кооперация выродилась в советское казенное учреждение, выдающее нищенские пайки населению.

ГЛАВА 44

ЮБИЛЕЙ

1828—1928 гг.

Несколько дней дождь лил, не перставая. Утопая в грязи, рабочие засыпали ямы, где обжигался кирпич, мостили дороги.

Вешались последние картины и устанавливались экспонаты в Новом Музее, устроенном во флигеле — бывшей школе Л. Н. Толстого.

Шли репетиции «Власти Тьмы» и некоторых пьесок, переделанных из детских рассказов Льва Николаевича. Дети рисовали программы торжества.

Бюст Толстого во весь рост стоял уже в нише у входа, из которого лестницы с двух сторон вели в главный зал.

За несколько дней до юбилея председатель Тульского Губисполкома послал за мной. Он хотел знать: как мы будем перевозить гостей со станции? где мы будем угощать гостей? кто будет переводчиком иностранцев? Последний

вопрос разрешился очень просто: в нашем коллективе говорили на восьми языках.

28-го августа в 7 часов утра я поехала на станцию встречать гостей.

Лил проливной дождь. Двор маленькой, обычно пустынной станции Ясная Поляна теперь заставлен машинами, автобусами, присланными из Губисполкома. Небольшая группа любопытных, местные партийцы, представители яснополянских крестьян толпились на платформе, ожидая гостей.

Комиссар по Народному Просвещению товарищ Луначарский, окруженный целой свитой, первый вышел из вагона специального назначения. За ним вышли Книппер-Чехова, артистка Художественного театра, профессора, группа иностранцев, которые резко отличались своей хорошей одеждой, ботинками и перекинутыми через плечо фотографическими аппаратами. Они с любопытством смотрели вокруг, точно ожидая чего-то необычайного. Шныряли репортеры, фотографы, ища знаменитостей.

Официальное заседание, назначенное в это же утро, открыл председатель Тульского Губисполкома. Говорил он долго, повторялся, заикался на каждой фразе и наконец так запутался, что никак не мог закончить свою речь. Лицо его побагровело, покрылось каплями пота, но он никак не мог выбраться из тупика. Наконец он судорожно выхватил из кармана носовой платок, вытер им нос, лоб и шею и, не закончив свою речь, сел.

Простую, сердечную и прочувствованную речь ученика старшей группы Вити Гончарова все выслушали со вниманием. Да пожалуй, по своей искренности и чистоте она была лучшей из всех. Речь заведующей учебной частью школы была слишком профессиональная, многие не поняли, что она хотела сказать. Я говорила плохо, не могла сосредоточиться.

Прекрасую речь, перемешивая русские слова со словацкими, произнес словак Вельминский, который раньше знал и любил моего отца. Заканчивая, он обратился к советскому правительству: мы все иностранные гости, приехавшие на это торжество, обращаемся к советскому правительству

с просьбой разрешить дочери Толстого Александре Львовне вести работу в Музее и школе Ясной Поляны, следуя заветам отца... Голос у Вельминского оборвался, глаза покраснели: он не мог больше говорить.

Его горячая и прочувствованная речь меня глубоко тронула и вдохновила. Я должна была ему ответить, должна была высказать то, что было у меня на душе.

— Анатолий Васильевич, — обратилась я к Луначарскому, — я должна ответить!

— Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать об исключительном положении Ясной Поляны... О декрете...

— Слово предоставляется Александра Львовне Толстой!

«Пан или пропал, — думала я, — или они признают слова Ленина, что Ясную Поляну в память Л. Н. Толстого освобождают от коммунистической, антирелигиозной пропаганды, или же будут проводить, как и всюду, сталинскую политику».

— В то время, когда по всей России проводится милитаризм и антирелигиозная пропаганда, товарищ Ленин... и мы верим, что и в настоящее время Советское правительство, которое, чтит память Толстого, что мы видим по сегодняшнему торжеству, даст возможность...

Но не успела я окончить, как Луначарский вскочил:

— Мы не боимся, — громко, как привычный оратор, начал он свою речь, — не боимся, что ученики Яснополянской школы будут воспитываться в Толстовском духе, столь противном нашим принципам. Мы глубоко убеждены, что молодежь из этой школы поступит в наши вузы, перемелется по нашему, по коммунистическому. Мы вытравим из них весь этот толстовский дух и создадим из них воинствующих партийцев, которые пополнят наши ряды и поддержат наше социалистическое правительство.

Это была обычная пропагандная речь и последствия ее не сулили нам ничего доброго.

Луначарский с самодовольным видом человека исполнившего долг прошествовал вниз в сопровождении толпы. Гости образовали полукруг с двух сторон лестницы против ниши в которой стоял бюст Толстого завешанный белым полотном.

Ждали торжественного момента официального открытия школы.

— Сегодня, в день столетнего юбилея Льва Николаевича Толстого, мы собрались здесь...

Я не верила своим ушам. В первой своей речи говорил Луначарский — узкий, подчиненный своей партии марксист. Здесь у памятника Толстого говорил живой человек. Он говорил о величии Толстого, о его понимании и любви к людям, о том какое сильное влияние Толстой имел на него, на Луначарского, когда он был юношей. Это была прекрасная, вдохновенная, искреняя и прочувствованная речь. Несколько раз звучный голос Луначарского прерывался от волнения. И когда он кончил, он сильным театральным жестом отдернул полотно с бюста Толстого. Церемония была закончена.

Иностранцы устали и проголодались: несколько часов они слушали непонятные им русские речи.

Ко мне подошел Стефан Цвейг и сказал:

— Вы не знаете, какое влияние имел на меня ваш отец! Я всегда боготворил его!

Шведский делегат сказал мне несколько любезных слов на прекрасном английском языке. Вельминский вспоминал свое первое посещение Ясной Поляны и свой разговор с отцом. У одного из иностранных гостей пропал фотографический аппарат и кто-то высказал предположение, что он был украден одним из корреспондентов.

После завтрака нам надо было показать гостям дом-музей, свести их на могилу отца, давать объяснения на нескольких языках. Было пасмурно, но дождя уже не было, когда мы отправились на могилу. Подойдя к ограде, все молча сняли шляпы. Кто-то нарушил молчание.

— Почему нет памятника, даже нет цветов?!

— Эти дубы лучший памятник, а цветы не цветут, мы пробовали, слишком много тени.

Вельминский и некоторые гости опустились на колени. Профессор Сакулин произнес короткую речь, и мы пошли обратно.

Учителя и сотрудники музея приглашали гостей к себе домой, отдохнуть.

— Посмотрите, как мы живем.

Но они отказались. Только несколько человек заколебалось «А где Луначарский? — и покосившись на группу коммунистов, тоже отказались. — Нет, спасибо, может быть Луначарский будет недоволен, если мы отколемся от группы».

Мы не могли понять, чего боятся иностранные гости, — ведь они же свободные граждане, не то, что мы . . .

Вечернее представление имело громадный успех. Хор детей школьников — около 250 человек — пропел, как мы это назвали , «Прославление Природы» из девятой симфонии Бетховена. Пели из опер Римского-Корсакова, Чайковского. Витя прекрасно прочел: «Воспоминания крестьян о Л. Н. Толстом», которые он сам собрал среди крестьян Ясной Поляны и изложил в литературной форме. Высокий, красивый 16-летний юноша произвел прекрасное впечатление на публику. И когда в смешных местах публика громко смеялась, он, вороша свои темные курчавые волосы, останавливался и выжидал.

Но успех последнего номера программы превзошел все ожидания. Не успел открыться занавес, как раздались дружные аплодисмены. Картина действительно была красочная. На сцене около 20 яснополянских баб стояли полукругом разодетые в старинные русские наряды: белые расшитые рубахи, яркие желтые, красные с разводами сарафаны и паневы, отделанные золотым позументом. Наряды эти не носились бабами годами, а хранились на дне их сундуков вместе с другим добром.

Были приглашены лучшие запевалы и плясуны из яснополянской деревни. Бабы встали в круг, взялись за руки и запели хороводную. А старик Спиридоныч в ярко красной рубахе и новых, густо смазанных дегтем, сапогах и широких плисовых шароварах и бабка Авдотья изображали посреди хоровода все, о чем пелась песня.

Грустные старинные песни сменялись плясовыми и свадебными. Под конец хор спел старинную плясовую, «Не будите меня молодую рано, рано по утру . . .» Плавно, словно играючи, держа платочек высоко над головой выплыла из заднего ряда молодая девушка, Паша Воробьева, а за ней выскочил пулей брат ее, Васька Воробьев, в белой расшитой рубахе и новых лаковых сапогах.

Васька вертелся, как бес, вокруг сестры, то выбивая чечётку, то идя в присядку, прыгал кружился... Весь зал встал и разразился аплодисментами.

— Браво, браво! — кричали в публике. — Брава! — кричали бабы и тоже в полном азарте хлопали в ладоши. Но больше всех выражали свой восторг иностранные гости...

А тем временем, как я узнала уже на другой день, внизу в канцелярии школы, корреспонденты-большевики сообщали по телефону в Москву сведения о праздновании Юбилея. О самой школе и речах при открытии школы, о посетивших Ясную Поляну иностранных гостях, об успехе программы ничего не было сказано в газетах. «Правда» только нападала на правительство: как можно было допустить, что полуголодных детей заставляли петь псалмы.

Полуграмотные необразованные газетчики, не имеющие никакого понятия о классической музыке, приняли симфонию Бетховена за церковное пение.

ГЛАВА 45

ПО РОССИИ

Картошка, свинки и Кавказ

Чего только мы не придумывали в те времена!

Я всегда любила возиться с землей: сажать цветы, овощи, деревья. А тут попалась мне брошюра: посадка картофеля огородным способом. Надо было вырыть ямки фута полтора глубины и ширины, удобрить дно ямки навозом смешанным с землей и древесной золой, посадить картошку и засыпать ее землей. Каждый раз, как картошка даст побеги, опять засыпать ее землей — до тех пор, пока над уровнем земли образуется нечто вроде муравьиной кучи. Когда последние ростки образуют плети и начнут засыхать — тогда надо было выкапывать картошку.

Мы производили этот опыт со стариком Ильей Васильевичем, но не особенно верили, что он удастся. Но опыт превзошел все наши ожидания. Оказалось, что каждый раз, как мы засыпали побеги землей, образовывалась гроздь карто-

феля. Со ста ямок я получила два воза картошки, столько же собрал Илья Васильевич. Целую зиму он мог кормить свою семью этой картошкой, да еще осталось немного и на продажу.

А продуктов на рынке было мало, трудно было что-либо достать. Мы не могли нарадоваться на нашу удачу.

Но чудесная сказка на этом не кончилась. Мне удалось купить поросенка. Я выкормила его своей картошкой. И когда моя маленькая свинка выросла в громадную свинью, она опоросила 12 поросят. Когда я продала все свое свиное хозяйство, я оказалась богатым человеком и решила на эти деньги путешествовать. Примкнула к экскурсии и уехала на Кавказ.

Меня тянуло поездить по России может быть потому, что я чувствовала, что скоро покину ее — навсегда.

Оторваться от вечных ежедневных хлопот, неприятностей, ответственности, а главное оторваться от советской действительности, попасть в иной мир, куда не проникла еще большевистская отрава — было великим счастьем! Снова увидеть и почувствовать величие и красоту Кавказа, подниматься по горным безлюдным, вьющимся над пропастями тропинкам, выше, выше по ледниковым, снежным полям, переходить по сваленным деревьям через бешено несущиеся горные речки — было великим счастьем! Видеть беспрестанно сменяющиеся оттенки гор, то сияющие яркой белизной вечного снега, то покрытые яркой зеленью сосновых деревьев, то прячущиеся за кружевами прозрачных облаков, чувствовать могущество Творца в красоте и величии гор — было великим счастьем!

Нас повезли сначала по Военно-Грузинской дороге, мы поднимались до ледников Казбека. Из Теберды, искупавшись в ледниковом озере, мы пошли через перевал по полуразрушенной Военно-Сухумской дороге в г. Сухум.

Ночевали на воздухе, на земле, жгли костры, чтобы не замерзнуть, питались скудно, но на душе было легко. Все тяжелое, что давило душу — осталось там, где-то далеко. Не хотелось думать о том, что будет завтра, а только наслаждаться сегодняшним днем и дышать этим чистым, прозрачным воздухом. Смех, болтовня экскурсантов нарушали

гармонию, но я шла, отделившись от них. После перевала — буковые, чистые, вековые леса, затем стали попадаться жилища, сады. Когда на горизонте показалась яркая полоса моря, — мы невольно прибавили шагу, потянуло к теплу, к морю, к пальмам.

Мои друзья Смецкие жили в нескольких верстах от Сухума. Я остановилась у них. До революции Смецкой был очень богатым человеком и был известен всему побережью своей добротой и благотворительной деятельностью. Он построил три санатория в горной местности для туберкулёзных и пожертвовал их городу. Но главным интересом его жизни был его ботанический сад — один из лучших на всем побережье. Он разводил его много лет, выписывал всевозможные растения и деревья из Африки, Южной Америки, Австралии и других стран. Все имущество Смецкого было реквизировано. Его апельсинные сады погибли без ухода. Вместо цветущих деревьев, стояли оголенные с сухими ветвями деревья. Но парк еще сохранялся с множеством пород пальм, кактусов, акаций и других тропических растений.

После революции стариков выгнали из большого дома, построенного ими на горе, с видом на море и на сад и поселили их в доме бывшего сторожа. Чтобы не умереть с голода, старушка Смецкая пекла миндальные пирожные и носила их продавать за 4 версты в Сухум. Я не слыхала, чтобы старички жаловались на свою судьбу. Худая, жилистая старушка с гладко причесанными волосами, правильными чертами лица; видно было, что в молодости она была очень красива. Целый день она работала по хозяйству, готовила, убирала свой домик. А старичок Смецкий был счастлив тем, что он мог жить среди любимых им растений. Казалось, ему было безразлично, что на нем был выцветший, много раз стиранный пиджак, болтавшийся на нем, как на вешалке, что он жил, скудно питаясь, в тесной сторожке. Щечки его розовели и глаза сияли счастьем, когда его просили дать объяснения и показать его необыкновенные тропические деревья.

А в большом, утопающем в цветах и вьющихся розах, доме Смецких жили великие вожди революции. Здесь проводил свой отпуск товарищ Троцкий и многие другие.

Иногда ночью, спугнув стаю шакалов с темной тропинки обсаженной акациями, я, стараясь не шуметь, прокрадывалась в темноте до главного дома и нарезала большой букет чудесных душистых роз для старичков Смецких.

Кавказ. На Афоне.

В начале революции монастырь в Новом Афоне не успели еще совсем разорить. Монастырь жил старыми традициями. Потихоньку происходили церковные службы, приходили паломники. Их принимали как гостей и бесплатно делили с ними скудную трапезу.

Монахи все еще работали в лесу, куда вела построенная ими самими зубчатка, по которой спускались дрова вниз в монастырь. Они работали и в апельсинных садах, в огородах, сетями ловили рыбу в море. Я редко видела такую красоту и благоустройство, как на Афоне. Сколько труда, уменья, сил и любви было положено, чтобы создать, построить такие церкви, громадные вспомогательные корпуса, где были монашеские кельи, мастерские, гостиница для паломников. Монахи разговаривали неохотно. В их сдержанных ответах чувствовались страх, опасение, внутреннее беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне. И недаром.

Через несколько месяцев после моего посещения я узнала, что большевики их разгромили. Новый Афон был разорен, погибли сады; вместо благоустройства и порядка — мерзость запустения. Монахов выгнали. И они ушли подальше от людей в горы, в дикую природу на Псху, где они были совершенно оторваны от цивилизованного мира и куда проникнуть из-за вечных снегов нельзя было почти целый год.

Крым. «Мерли, как мухи».

Я много раз бывала в Крыму, но я никогда не забуду впечатления, которое на меня произвел один из самых старинных и прекрасных городов на Крымском полуострове.

Мы с подругой приехали в Бахчисарай ночью. Нам указали гостиницу, которая считалась самой лучшей.

Грязь, вонь, всюду пыль, сор, комната не подметена, на умывальниках слой сальной грязи.

— Нет ли у вас комнаты почище? — спрашиваем хозяина.

— О чистоте не беспокой! — успокаивает он нас. — Чисто, очень чисто!

— А клопы есть?

— Что вы, что вы! Клопы. Пожалуйста, прошу я вас о чистоте не беспокой!

Легли, не раздеваясь. Но спать было немыслимо. Кровати, стены кишели клопами.

Вокруг Бахчисарайского дворца фонтаны, во дворе та же мерзость запустения, грязь. «О чистоте не беспокой!»

Худой, оборванный татарин бродил по двору. Он не ответил на мой вопрос. Исхудавшее, скуластое лицо его было неприветливо, он злобно посмотрел на нас и отвернулся.

Мы, люди живущие на своей Родине, не знали, что происходило по всей России, до нас доходили смутные, непроверенные слухи.

Мы смутно слышали о голоде в Крыму. Но голодали люди везде, кроме самих партийцев, и мы не придавали значения этому слуху.

Мы поехали в Ялту на лошадях. Нас поразили печальные, согбенные, плохо одетые люди, встречавшиеся по пути. Шоссе шло мимо громадного кладбища. Когда же оно кончится? Проехали версту, две, пять, десять верст . . . Могилы, могилы, бесконечные могилы.

Сколько их здесь? Тысячи? Десятки тысяч?

— Мерли от голода, — повернувшись к нам сказал возница, — не́чего было есть, травой, как скотина, питались, дети пухли, синели и умирали от голода! Тысячами мерли, как мухи!

Север.

Зимой 1928 года я снова присоединилась к экскурсии, которая направлялась на далекий север — Мурманск, Александровск, Кандалакшу. Я уже получала больше жалованья и имела возможность скопить достаточно денег, чтобы опла-

тить экскурсию, тем более, что экскурсии устраивались для служащих Наркомпроса очень дешево. Наша группа состояла из школьных и музейных работников.

Мы провели 4 дня в Мурманске, единственном городе в России, где не было ни одной церкви.

Ночевали в школе. Нам отвели одну комнату, где мы все — и мужчины и женщины, — не раздеваясь спали 4 ночи на полу.

Первая наша поездка из Мурманска была в лопарскую деревню. Мы наняли трое санок, каждые санки были запряжены парой оленей. На передних санках оленями правил лопарь, остальные санки — привязаны к передним.

Глубокий снег, едва проторенная узкая дорога, какие-то жалкие, низенькие деревья по дороге, ни людей, ни домов. А деревня куда мы приехали — всего несколько домов — холодных. Женщины и дети все сидели в доме в малицах, унтах. Они производили жалкое впечатление нищеты, дикости.

Когда ехали назад, сумерки перешли в полную тьму. Лопарь наш напился, гнал оленей из всех сил. Когда мы покатились под гору, лопарь не тормозил; передки саней били оленей по ногам и они неслись, как бешеные.

Удержаться на скользкой поверхности санок было невозможно, и мы все, один за другим, вываливались в глубокий снег. Мы барахтались в снегу и старались из него вылезти, а олени, домчавшись до подножья горы, останавливались. Лопарь, увидав что в санях никого нет, пошел нас искать.

— А вот они! — воскликнул он радостно. — Как будылки валяются. Вставайте, чего валяетесь!?— и он стал нас считать. — Один, два, три... Сколько вас было? Шесть?!

Поехали дальше. Теперь лопарь то и дело останавливался.

— Что случилось?

— Один, два, три, четыре... — и пересчитав всех, опять погнал оленей.

---

* Меховая расшитая одежда.

Он боялся потерять кого-нибудь, так как с каждого из нас он должен был получить по шести рублей.

Воскресенье мы бродили по базару. Я люблю базары. На базарах вы всегда чувствуете характер населения, видите людей, их одежду, изделия.

— Кто это? — спросили мы местного учителя.

На базар въехала молодая стройная женщина, румяная, с чуть приплюснутым носом и узкими карими глазами. Она ехала стоя, управляя парой белых оленей запряженных в санки покрытые белыми оленьими шкурами. Она была в белой с цветными узорами на подоле малице и в белых унтах. Мы загляделись на нее.

— Кто это?

— Это Ульяна, — ответил учитель, — вдова. Ее все знают. Всю мужскую работу делает, да и по правде сказать, ни один мужчина не может так оленями управлять, как она.

Ульяна лихо подкатила к лавке со шкурами и, не глядя ни на кого, стала что-то доставать из саней.

— А умница она какая! — продолжал учитель. — В прошлом году у всех лопарей Советы оленей забирали. Так что ж она сделала? Спрятала в лес своих оленей, да так, что найти невозможно. Да и сейчас никто не знает, сколько у нее голов. Молодчина! Огонь баба!

Мне очень хотелось ее снять, но было слишком темно.

Купить на базаре ничего не удалось. В единственной лавке, где продавались меха, нам сказали, что все, что у них было, забрали советы — за границу посылают.

Учитель нам рассказал, что в прошлом году советы реквизировали и зарезали тысячу оленей. Резали оленей в период линьки и почти все шкуры пришлось выбросить. После этого лопари стали прятать оленей оставшихся от реквизиции в леса и болота.

Из Мурманска нам разрешили за небольшую плату сесть на ледокол, шедший на выручку затертого во льду баркаса, который направлялся в город Александровск. С треском, подрагивая от напряжения, ледокол пробивал себе дорогу к застрявшему баркасу и, освободив его от льда, пошел дальше к Александровску.

— Что это? — спросили мы матросов.

Темная, громадная куча чего-то? Дом? Судно? В полутьме никак нельзя было различить, что это такое. И только подойдя совсем близко, мы увидели громадное чудище. Это был мертвый кит. Я никогда не представляла себе животного такого размера! Мне казалось, что он был больше нашего ледокола!

— А вот и город Александровск! — сказал кто-то из матросов.

— Где же он?!

Темные, облепленные ракушками, мрачные скалы у замерзших берегов Ледовитого океана, небольшой домик на берегу, несколько полуразрушенных необитаемых домов, и во всем городе один житель — ученый заведующий биологической станцией.

Мы поговорили с ним, но он неохотно и резко отвечал на наши, кек ему вероятно казалось, наивные вопросы: как он может жить здесь совсем один в этой полутьме? около этих мрачных скал? рядом с таким холодным бездушным океаном?

— «Бездушным?» — ученый презрительно фыркнул. — Да этот океан кишит жизнью! — сказал он с презрительной улыбкой. — Тюлени, моржи, киты...

Повидимому он свыкся с этой жизнью и был счастлив. Здесь он был вдали от жестокой действительности, вдали от лжи, фальши и злобы людской.

Возвращаясь обратно в Петербург, что заняло четверо суток, мы остановились в Кандалакше на берегу Белого моря.

До революции Кандалакша снабжала Россию соленой рыбой: семгой, селедками, сардинами. Но от многочисленных заводов, которые здесь ранее работали, остался лишь один.

— В прошлом году был громадный улов, — рассказывал нам местный житель, — мы не знали, что делать со всей этой рыбой и около восьмисот тысяч пудов сельдей испортились и их пришлось выбросить.

— Но почему же?

И невольно мысли мои перенеслись в Москву, где по 8—10 часов стояли люди в хвостах, надеясь получить какие-нибудь продукты.

— Почему? Очень просто! Кадушек не было, не в чем было солить. И о чем эти товарищи там в Москве думают? Только бы...

Он хотел что-то еще сказать но махнул рукой и замолчал.

Недалеко от Кандалакши наш поезд остановился. Мимо станции красноармейцы гнали группу оборванных, замерзших людей. Люди хотели остановиться, что-то сказать нам, но охранники грубо закричали на них. Страшно было смотреть на эти распухшие, посиневшие от холода, лица, на выражение глубокого страдания на них. Люди с трудом передвигали ноги, обутые в разбухшие, стоптанные валенки или порыжевшие сапоги.

Позади, едва передвигая ноги, шел высокий худой священник с длинными волосами и в каком-то странном одеянии, не то рясе, не то длинном пальто. Казалось, что он вот-вот упадет. Больно сжалось сердце. Стало неловко, стыдно за свое благополучие, сытость, за свою относительную свободу.

— Марш, марш! — опять заорал красноармеец. — Не задерживайся! А вы чего глазеете? — повернулся он к нам. — Аль таких орлов не видали? — и он грубо захохотал.

«Боже! Боже! За что? И кто они? Профессора, инженеры, ученые, бывшие буржуи?»

«Один живу, с Богом».

Летом 1929 года я отправилась в Ярославль и оттуда на пароходе вниз по Волге до Астрахани.

В Ярославле мне хотелось посмотреть старинные церкви и монастырь построенный в XIII веке.

— Какой монастырь? — спросила женщина, которую я просила указать мне дорогу. — Опоздали, голубушка, разрушили монастырь, нет его больше!

— Что вам здесь надо? Чего вы здесь не видали? — грубо спросил меня мужчина, собиравший в кучи ломаный кирпич.

— Думала монастырь посмотреть...

— Монастырь! — и мужчина презрительно захохотал. — Монастырь... Вот ваш монастырь, — и он указал на кучу мусора посреди двора, — вон тут дом был, в энтом доме фабрику валенок хотели устроить, да и это не сумели. Теперь на кирпич сломали... А какой монастырь был! Живо жалко!

Он безнадежно махнул рукой и отвернулся.

Садимся на пароход.

— Дайте я понесу вам вещи ваши...

— Что вы батюшка, как это можно, да и тяжелые они!

Этот старенький священник садился на тот же пароход, шедший вниз по Волге. Пожилая женщина, покрытая черным платочком, несла его вещи.

Пароход отчалил, а мы стояли на палубе и смотрели, как постепенно удалялся Ярославль. Пыль, грязь, разрушения уже не видны — перед нами расстилалась Волга во всем своем спокойном величии; и издалека Ярославль казался прекрасным.

— Я домой из Москвы еду, — сказал священник и глубоко вздохнул, Иверская-то а? Иверская... разрушили!

— Да, я видела, — сказала я.

— Как видели, как разрушали?

— Нет, но я была в Москве накануне того дня, когда ее разрушили. Я видела ее вечером. А на следующее утро, когда я проезжала в трамвае через Воскресенскую площадь — Иверской уже не было!

— А что же люди?

— Что люди?! Молчали. Я раскрыла было рот, но одумалась и тоже смолчала. Боялись говорить, только друг на друга посмотрели, и тяжелый, общий вздох пронесся по вагону.

— И подумать только, такую святыню — Иверскую часовню...

Старик понурил голову и замолчал.

Волга постепенно расширялась. Уже смутно виднелись берега.

— Заезжайте ко мне, рад буду! — сказал священник.

— А с кем вы, батюшка, живете?

— Один живу. Один, с Богом.

— А кто же о вас заботится?

— Друзья, они обо мне заботятся. Крестьяне нашей деревни. Они мне приносят все, больше чем нужно. Ах, какие это прекрасные люди! Вы увидите их, они придут меня встречать.

Солнце стало заходить. Огненный шар постепенно утопал, отражаясь в водах красавицы Волги. Я стояла на палубе, не в силах оторваться от волшебного зрелища, и не заметила как пароход стал плеваться и бурлить, подходя к пристани.

Священник и молчаливая женщина уже стояли с вещами, готовясь сойти на берег.

— Видите, вон там живу, вон моя церковь.

Вдали, вправо от нас, я увидела белую церковь с золотым куполом. И в ту же минуту я обратила внимание на большую лодку наполненную людьми, подходившую к пристани. Мужчины поснимали шапки, махали ими в воздухе; женщины махали платочками. Священник снял свою старенькую, с широкими полями, порыжевшую шляпу и тоже махал ею. Он счастливо и радостно улыбался.

Люди оживленно говорили между собой и пытались что-то сказать священнику, лица их сияли радостью. Мы простились со священником, лодка отчалила. Вдруг я почувствовала пустоту, точно я потеряла кого-то очень дорогого. А в ушах все звучали слова: «Один живу, один с Богом!»

Странно почему глаза мои наполнились слезами?

ГЛАВА 46

МАШКА

Постепенно партия вербовала работников и у меня появилось новое начальство — Машка Жарова.

Она была не плохая, эта Машка. Пошла в партию потому, что ее, уговорили, задарили партийцы и потому, что она была глупая. Ни один порядочный крестьянин или кресть-

янка в деревне Ясная Поляна, где население было свыше 800 душ — не шли в партию.

Машка была совершенно безграмотна. Партийная ячейка решила ее образовывать и ее послали в Тулу на обучение. Она приказывала запрягать моего любимого гнедого жеребца, Османа, для поездок в Тулу. С ужасом и болью в сердце я смотрела, как Машка немилосердно его гоняла. Один раз, когда я на маленькой, неказистой лошаденке тащилась в Тулу, я встретила Машку. Она возвращалась из города.

— Маша, куда ты?

— Домой! Больше не могу. Сидишь, сидишь, буквы эти перед глазами пестрят, не пойму ничего. Вот уж третьи сутки голова от их трещит! Провались они пропадом со своей учебой! А ребята в школе такие охальники, лезут, за все места тебя хватают! А ну их к лешему. Подписывать свою хвамилию научилась и хватит с меня, больше не поеду!

У меня жила и готовила мне моя кума, бабка Авдотья. Хорошая была старуха, но только когда котлеты делала, слюной их скрепляла, чтобы глаже были. Но я держала ее потому, что она чудесно пела. Вечерком после работы мы сидели с ней за самоваром, и она меня учила самым старинным яснополянским песням. Авдотья восхищалась Машкой:

— Разве ты противу нее годишься! — говорила она мне. В чем ты ходишь, срамота! А ты посмотри на Машку: все на ней новенькое, разодета как барышня, и духами-то от ей пахнет и усем!

Машка хорошо ко мне относилась и даже покровительствовала мне.

— Александра Львовна, потребиловка ситец получила, — говорила она, — желаешь? Могу достать, сколько тебе надо!

Как-то раз она пришла ко мне. Я писала что-то за письменным столом.

— Работаешь? — спросила она меня.

— Работаю. А ты что — гуляешь?

— Ну да, гуляю, сегодня праздник большой!

— Не слыхала. Какой же это праздник?

— А я, по совести, сама не пойму. Говорили нам ребята в ячейке, каких-то в Америке Сакку и Ванцету убили, вот мы и празднуем.

ГЛАВА 47

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СУД

Преследование культурных работников, пресечение инициативы в школах, стремление задушить проблеск талантов в учениках стремящихся к живому творчеству, забивая их умы скучной, бездушной марксистской пропагандой — все это удручающе действовало на коллектив, лишало лучших работников всякого интереса к их деятельности.

Среди крестьян наблюдалось такое же подавленное настроение. Насильственное переселение крестьян в колхозы, преследование и ссылка лучших трезвых и работящих людей, так называемых кулаков, в Сибирь, вызвало в деревнях пассивное сопротивление, — крестьяне уменьшили площади своих посевов.

В Ясной Поляне кулаков не было. Только один крестьянин подходил под название кулака. Это был Тит Иванович Пелагеюшкин, бывший управляющий богатыми имениями, владелец единственного в деревне двухэтажного кирпичного дома. Тит Иванович изменил фамилию, назвался Полиным и перекрасился в красные. Старший сын служил в ГПУ, остальные ребята были комсомольцы или сочувствующие.

Тит Иванович был в почете у коммунистов, крестьяне же его не любили и не слушались его уговоров увеличить посевы ржи и посадку картошки.

— Чего мы будем зря спины гнуть? — говорили они. — Посеем, а большевики все равно отберут.

Большинство крестьян отказывалось идти в колхозы, резало скотину.

Правительство принимало всевозможные меры, чтобы заставить крестьян поднять урожаи: выдавало семена, посылало партийных работников агитировать — ничто не помогало.

Продукты постепенно исчезали. Еще выдавали по карточкам полусырой, тежелый с мякиной черный хлеб, но сахар, крупу, муку и другие продукты можно было иногда за большие деньги достать на черном рынке.

Рабочие и люди получавшие небольшое жалованье — учителя, врачи — жили впроголодь.

По́лки в потребиловке и ее склад пустовали. Можно было купить уксус, сухую горчицу, дешевые духи — но этими товарами никто не интересовался.

Громадным событием в деревне был привоз мадепалама или затхлой крупы в потребиловку.

Люди становились в хвост очереди уже с вечера. Они стояли всю ночь, иногда на морозе или под дождем, до утра. Когда наконец доходила до них очередь — товар был распродан, и большинство уходило ни с чем.

На черном рынке обычно продавался товар предназначенный к отправке за границу, но почему-либо забракованный — негодный, сырой, крошащийся сахар, тухлые селедки.

И люди покупали по дешевке и ели. «Ничего, — говорили они, — подпахивает правда, но зато питательно, да и давно мы рыбы не ели».

Продовольственное положение становилось все хуже и хуже. Советы нажимали на крестьян, стали применять репрессии, вводили жестокие законы, за неисполнение которых людей судили, ссылали в Сибирь, даже расстреливали. Одним из самых тяжелых преступлений был срыв посевной кампании.

Вот за это-то преступление и было отдано под суд все правление кредитного товарищества в Ясной Поляне. Председателем товарищества был врач нашей больницы А. Н. Арсеньев, очень культурный, ученый человек, ботаник, опытный кооператор, либерал, член первой государственной думы, подписавший Выборгское воззвание и за это тогда лишенный дворянства. Два другие члена правления были молодые, умные и энергичные крестьяне.

Доктор был занят: приемы в амбулатории, разъезды по деревням, организация и наблюдение за постройкой больни-

цы, запоздавшей к юбилею. Он мог посвящать кооперативу лишь урывки своего времени и случилось так, что члены правления проглядели пункт местного циркуляра, где предписывалось выдавать беднякам семена бесплатно. Несколько ссуд были выданы за деньги. Кроме того, товарищество запоздало с выдачей семян одной яснополянской вдове.

Возникло дело. Правление кредитного товарищества обвинялось в «срыве посевной кампании», то есть в преступлении государственной важности.

Показательный суд был устроен в Народном Доме. Собрались все крестьяне, персонал школы и музея.

Председательствовал рыжий здоровый мужик, присланный из Тулы. Двое судей были из соседнего местечка Щекина. Председатель щекинской компартии был назначен прокурором. Все свидетели со стороны обвиняемых были этим «прокурором» отведены, остались лишь свидетели со стороны обвинения.

Доктор Арсеньев, председатель кредитного товарищества, привлекался к ответственности как местный вредитель, умышленно срывавший посевную кампанию в то самое время когда правительство вело борьбу с кулачеством и контрреволюционными элементами в деревнях, стараясь убедить крестьян переходить в коллективы, где они могли бы производить достаточно зерна не только для себя, но и для социалистического правительства. Доктор Арсеньев должен быть немилосердно наказан, как бывший помещик, дворянин, который, пользуясь темнотой необразованных масс, старался пролезть в советские учреждения и их разрушить.

Что же касается двух других обвиняемых — членов правления кредитного товарищества, — то они также являются типичными представителями кулаков с их вредительской психологией, стремящейся сорвать и аннулировать всю плодотворную деятельность компартии в деревнях. — Так формулировалось обвинение.

Один из свидетелей доказывал, что доктор не обращал никакого внимания на правительственные циркуляры и не давал никаких отчетов Губземотделу о деятельности кредитного товарищества. Чиновник из Губземотдела подтвердил показание этого свидетеля.

— Я видел такую бумагу на столе председателя, — сказал он, — но председатель даже не потрудился показать ее мне, что он обязан был сделать.

— Разрешите спросить, какой вид был у той бумаги, о которой вы говорите? — спросил Арсеньев.

— Это была небольшая бумага, сложенная вчетверо.

— Может быть вот эта? — спросил доктор- вынимая бумагу из портфеля.

— Да, да, эта самая!

— Я прошу ее огласить! — сказал доктор, подавая бумагу председателю.

— А какое это имеет значение? ..

— Это имеет большое значение, — настаивал доктор, — эта бумага — заказ на семена овса. Я никогда не скрывал ни одного циркуляра от местных властей . . .

— Поговорим об этом позднее, — перебил председатель и поспешно сунул бумагу в свой портфель.

Следующим свидетелем вызвали вдову, не получившую во время кредита на покупку коровы.

— Что вы имеете заявить по этому делу, гражданка?

— Что заявить? Безграмотная я вдова . . . всякий может меня обидеть, обойти вдову несчастную.

Было совершенно ясно, что заранее принято решение осудить правление кредитного товарищества. Все вело к этому.

Во время перерыва, когда я вышла во двор подышать чистым воздухом, крестьяне окружили меня.

— Александра Львовна, Александра Львовна, поговорить с вами хотим.

Я пыталась отойти, но они всей толпой окружили меня.

— Что они дурного сделали? За что их судят? Поговорите с судьями, ведь лучшего председателя у нас не было. Скажи им!

Они кричали в страшном волнении, перебивая друг друга, напирали на меня.

— Друзья мои, — сказала я, со страхом оглядываясь кругом, — не губите ни себя, ни меня! Пожалуйста, отойдите. Вы не представляете себе, в какой мы опасности! Если партийцы увидят, что вы разговариваете со мной, они сейчас же

обвинят меня в заговоре против правительства. Подите, поговорите сами с председателем суда!

Крестьяне меня поняли и отошли. Мне было противно, грустно и обидно. Я почти всех их знала с детства. С некоторыми мы вместе выросли, другие состарились на моих глазах, со многими мы были друзьями и на ты. А теперь я не могла даже поговорить с ними.

Председатель вышел на крыльцо с небольшой группой коммунистов и курил. Крестьяне подошли к нему и, перебивая друг друга, говорили ему что-то. Я только уловила несколько слов: «Хороший человек ... Нам лучше не надо ... Справедливый, всем старается помочь». И вдруг громко раздался молодой звонкий голос: «Это все комсомольская ячейка мутит! Уберите вы этих бездельников из Ясной Поляны, не нужны они нам!»

Поднялся крик, шум, напрасно председатель суда старался успокоить крестьян и вдруг, заглушая всех, прозвучал крикливый, громкий голос:

— Товарищи! не комсомольская ячейка, а Толстая агитирует против партии!

Опять загудела толпа, никто не слушал председателя. Неожиданно из Народного Дома выскочил секретарь комсомольской ячейки.

— Я все слышал, товарищи, — заорал он не своим голосом, — я все знаю! Толстая вооружает крестьян против советского правительства. Товарищи! Когда мы наконец избавимся от этих буржуев?! Долой вредителей! Долой врагов народа и пролетариата!

Опять загудела толпа. Тщетно старался председатель ее успокоить. Дело пришлось отложить и перевести его в тульский окружной суд. А я в ту же ночь выехала в Москву к Калинину.

— А вы небось не знаете, Александра Львовна, кто эти судьи-то были? — спросил меня знакомый крестьянин, когда суд уехал. — Про председателя я ничего не скажу, не знаю — тульский он, а двое других — здешние. Вот тот, кто слева сидел, высокий, костлявый с длинным носом, несколько лет тому назад за убийство жены судился. А второй, что справа сидел, чернявый, тот, что узкие глазки щу-

рил и ухмылялся когда доктор говорил — этот уж два раза сам под судом был, первый раз за то, что девчонку изнасиловал, а второй раз за то, что заключенных пытал. Нализался и пьяный вывел их на мороз во двор и стал их из шланга поливать. Едва выжили.

Не знаю исполнил ли Калинин мою просьбу и центр повлиял на решение суда, но доктора Арсеньева и двух других членов правления условно приговорили к трем годам тюремного заключения.

Глубокой иронией звучали слова адвоката, защищавшего Арсеньева:

— Граждане судьи! — заключил он свою речь. — Повидимому доктор Арсеньев не может угодить ни одному правительству. Царское правительство преследовало его за либеральные идеи; советское правительство преследует его за контрреволюционную деятелность. Он никак не может попасть в тон, как певец с хронической простудой!

ГЛАВА 48

НАЧАЛО СТАЛИНСКОЙ ПОЛИТИКИ

Злостные придирки коммунистов, ревизии в школах и музее продолжались главным образом со стороны местных властей. Приходилось ездить в Губисполком, и в Москву, давая объяснения и прося защиты. Неожиданные налеты партийцев нагоняли страх на всех сотрудников, мешали работать.

Иногда совершенно неожиданно под вечер приезжала группа большевиков из губпарткома. Они привозили с собой пряники, конфеты для детей, подарки и советскую пропагандную литературу.

Усилилась антирелигиозная пропаганда, детей священников выгоняли из школ, установили шестидневную неделю с тем, чтобы ученики посещали школу и в воскресенье. Не исключалось и Пасхальное Воскресенье. Коммунисты требовали, чтобы в этот день школы были открыты. Я отказывалась исполнить требование партийцев. Комсомольская ячейка нажимала.

Машка оказалась между двух огней. Она не хотела огорчать крестьян — родителей детей — настаивая на требованиях партийцев, и не хотела выступать против меня. С другой стороны она боялась, что ей попадет по партийной линии. Прислали коммуниста из Тулы. Он долго говорил со мной, требуя, чтобы учителя давали уроки в Пасхальное Воскресенье. После долгих разговоров он, наконец, согласился собрать всех учителей и решить вопрос общим голосованием.

Вечером, в страстной четверг, собрались в новой школе II ступени все учителя, приехавший из города коммунист и члены коммунистической ячейки. После пропагандной речи партийца, направленной против религиозных предрассудков, говорила я. Я упомянула о мнении Ленина, сделавшего исключение для школ имени Толстого, говорила о родителях: какое это вызовет огорчение и возмущение, если детей заставят учиться в такой большой праздник. После коротких прений поставили вопрос на голосование. Я была спокойна. Учительский коллектив, за исключением нескольких человек, всегда меня во всем поддерживал — работали мы очень дружно. Я не поверила своим глазам, когда на мое предложение не заниматься в Пасхальное Воскресенье, поднялись четыре руки. Со мной голосовали: школьный врач, двое скромных учителей первой ступени и мой друг — преподавательница литературы во второй ступени.

Я вышла в соседнюю комнату, чтобы немного успокоиться. Когда я вернулась, партийцев уже не было и я могла свободно говорить.

— Мы могли вместе работать, — обратилась я к учителям, — мы могли до известной степени оградить школу от коммунистического влияния, избегать антирелигиозной пропаганды, милитаризации только при большой сплоченности, при общем понимании наших целей и задач. Борьба была нелегка, но мы твердо проводили свою линию и старались придерживаться принципов моего отца, имя которого несет эта школа. Я от всего сердца благодарю тех из моих сотрудников, которые до конца поддерживали меня и те идеи, за которые мы боролись. Потеряв поддержку большинства, я не смогу больше возглавлять нашу Опытно-Показа-

тельную станцию Ясную Поляну, созданную вместе со всеми вами...

Спазмы сдавили мне горло. Я не могла больше говорить.

Во мне росло убеждение, что дальше я бороться не в силах и не в силах больше притворяться, лгать, лучше тюрьма, ссылка, даже смерть!

Работать становилось все труднее и труднее. Ясная Поляна уже не составляла исключения и бороться с влиянием компартии было немыслимо. Мое решение уйти, освободиться от гнетущего чувства, и сознания что совесть все больше и больше засоряется ложью, что, спасая себя, морально ты падаешь все ниже и ниже — крепло с каждым днем.

Чтобы легче наблюдать за деятельностью сотрудников музея и школ, Губпартком решил организовать ячейку в самой Ясной Поляне.

Кроме Машки Жаровой — представительницы от рабочих по совхозу «Ясная Поляна» и кооперативу — в ячейку были назначены почтарь-партиец и секретарем ячейки — товарищ Трофимов, командированный из Тулы.

Трофимов обладал всеми качествами заядлого большевика: самоуверенной грубостью, нахальством, невежеством и жестокостью.

Он любил всех учить, говорить длинные речи, пересыпая их мудреными словами и фразами, которых он сам и никто не понимал.

— Мы, так сказать, — обращался он к учителям, — страдаем высокообразованным академическим достиженим, товарищи... и, так сказать, требуем сознательного понимания партии...»

А культурные — доктор Арсеньев, окончивший три факультета, наш обществовед, окончивший два факультета, — и все мы, были обязаны слушать эту белиберду.

Трофимов всегда ходил в черной блестящей кожаной куртке, кепке и лаковых сапогах. Меня он побаивался и ненавидел.

— Ох, гражданка Толстая, — как-то сказал он мне, поигрывая револьвером в черной кобуре, не в силах слержать своей злобы, — была бы моя воля, застрелил бы я вас на месте, рука бы не дрогнула. И чего центр смотрит?!

Я засмеялась. Лицо его злобно сморщилось и из-под поднятых бровей метнулись на меня белесые, неопределенного цвета мутные глаза. Он круто повернулся и пошел бессильно сжимая свои белые нерабочие, узловатые грязные руки в кулаки. Почему-то эти руки всегда вызывали во мне особое чувство гадливости.

У Трофимова не было никакой определенной работы, но он повсюду совал свой нос, и все его ненавидели. Он считал себя вправе распоряжаться, давать указания преподавателям, учить их, как надо вести антирелигиозную пропаганду, которая усилилась в Народном Доме. Меня раздражало, что Трофимов без разрешения проводил собрания с нашими учениками. А когда он, как хозяин, не снимая кепки, входил в Музей, и в кабинет, и в спальню отца — всё кипело во мне от сдерживаемого гнева.

Постепенно все должности в кооперативах, в Народном Доме, на почте были заполнены коммунистами. Заместителем моим по Музею-Усадьбе Ясная Поляна был назначен советский писатель Вишнев, ничтожный, безличный человек, полуинтеллигент, начавший с того, что старался внушить мне, что надо употребить учение Толстого, как орудие антирелигиозной пропаганды.

— Ведь Толстой же был против церкви, — говорил он, — мы же можем его цитировать в нашей борьбе с религиозными предрассудками.

Мои возражения и доводы, что Толстой был очень религиозным человеком — были бесполезны.

В 1929 году была ранняя весна. Постепенно таял лед на реках. Луга были затоплены водой. В лесу еще лежал снег.

Я не могла спать. Рано утром я встала и пошла через лес на отцовскую могилу. Едва светало. Солце вставало, освещая верхушки деревьев. Под ногами хрустел и ломался лед. Я села на скамейку у могилы. Тишина — ни звука. Постепенно засветились ярким золотым светом деревья, заверещала одна птичка и вдруг лес огласился пением. Здесь был покой. Все остальное — ложь, фальшь. И я создала все это его именем, именем того, кого я любила больше всего и всех на свете.

Уже солнце было высоко, когда я пошла домой — я ни о чем не думала, но чувствовала, знала, что жить во лжи я больше не могу.

ГЛАВА 49

ПРОЩАЙ РОССИЯ!

Я подала заявление в Главсоцвос, прося освободить меня от обязанностей заведующей Опытно-Показательной станции и Музея-Усадьбы. Отставку мою не приняли. Я пошла к заместителю Наркома Просвещения, Моисею Соломоновичу Эпштейну. Я ему откровенно сказала, что не могу больше работать, потому что нарушено указание Ленина о возможности дать некоторую свободу Ясной Поляне, из уважения к моему отцу.

— Мне стало трудно, — говорила я ему, — в школах вводят антирелигиозную пропаганду, милитаризацию, то, что противно взглядам моего отца. Полуграмотные партийцы, как вы выражаетесь «искривляют линию» и просто-напросто бесчинствуют. Вы не можете себе представить, какое насилие происходит с коллективизацией. Недавно знакомый крестьянин решил уйти из коллектива, не мог в нем работать. Партийная ячейка настояла, чтобы ему не возвращали его имущества. Крестьянин потерял все, семья осталась на улице. В полном отчаянии крестьянин повесился.

— Я только что из деревни, — ответил Эпштейн. — Я посетил большие коллективы. Крестьяне очень довольны. Обрабатывают землю тракторами, завели племенной скот.

— Где вы были? Кто это вам говорил?

— Я был в нескольких коллективах и, конечно, никто не знал, кто я. Все очень довольны.

«Боже мой! — думал я. — До чего главы правительства глупы и недальновидны. Всегда одна и та же картина: нежелание видеть истинное положение, самообман. Члены ВЦИК кушают осетрину и икру и не верят, что население голодает».

Я молчала. Было бесполезно доказывать, что люди за версту признали бы в нем коммуниста. Каждый раз, когда

Эпштейн приезжал в Ясную Поляну, весь Щекинский район, каким-то чудом пронюхав о его приезде, готовился его встретить.

— Товарищ Эпштейн! Я вам честно и откровенно заявляю: я больше не могу заведывать Опытно-Показательной станцией и Музеем-Усадьбой Ясной Поляны.

Эпштейн дружески улыбался:

— Нет, вы нам нужны, мы отпустить вас не можем.

«Как в плену», — думала я.

Через несколько месяцев я снова пошла к Эпштейну.

— Разрешите мне, товарищ, — просила я, — поехать в экскурсию на три месяца в Японию. Я хочу познакомиться с их методами преподавания. Оттуда я хотела бы проехать в Америку. Вернусь и примусь за работу с новой энергией. Я устала, я чувствую, что мне нужен отдых.

— Почему же Япония?

— Но вы же не пустите меня в Европу. Слишком много эмигрантов в Европе и мне трудно будет не видеть родственников, друзей и знакомых. И даже если мне разрешат ехать в Европу и я никого не буду видеть, — ГПУ меня все равно обвинит, что я нахожусь в связи с эмиграцией. А в Японии русских очень мало.

Я никому не говорила о своем намерении уехать, но каким-то образом распространился об этом слух и все спрашивали меня, вернусь ли я обратно.

Несколько месяцев я не получала никакого ответа.

— Ой, ой, — сказал мне председатель Губисполкома, — не верю я вам, гражданка Толстая. Не вернетесь вы обратно! Был бы я в Центре, никогда не пустил бы вас, — и он подозрительно и упорно ловил выражение моего лица.

— Неужели Ясная Поляна и все созданное мной здесь, не является залогом того, что я вернусь? — спросила я, презирая себя в душе за ложь.

Теперь моей единственной целью, единственным желанием было уехать. Я не могла больше лгать. Работа в школе и Музее была мучительна. Разборка рукописей, переписка их и приведение в порядок были закончены. Издание первого 90-томного собрания сочинений Толстого перешло в руки Госиздата и оно меня не интересовало. Кто мог ку-

пить это собрание сочинений издаваемое в 1000 экземпляров за 300 долларов? Комиссары? Богатые иностранцы? В народ это издание не проникнет и простые рабочие люди не смогут читать Толстого как раньше, когда при старом правительстве сочинения Толстого распространялись в миллионах экземпляров.

Несколько раз ГПУ отказывало мне в выдаче иностранного паспорта. Прошло несколько месяцев. Я не теряла надежды и переписывалась с моими друзьями японцами, посещавшими моего отца.

К концу лета 1929 года я получила телеграмму из Японии. Меня приглашали читать лекции в Токио, Осака и другие большие города.

С это телеграммой я пошла к Луначарскому.

— Если вы не пустите меня, — закончила я свой разговор, — мне придется послать телеграмму в Японию, что вы боитесь выпустить меня за границу.

Даже в то время, как я держала в руках ярко-красный с золотыми буквами советский паспорт с ужасающей своей физиономией на первой странице, мне не верилось, что я смогу уехать.

В Наркомпросе просмотрели конспект моих лекций, все мои рукописи, книги, письма, записные и адресные книжки. Все это было запечатано, ничего сверх этого брать не разрешили. Не разрешили говорить о школах в Советской России.

— А гитара? Зачем она вам?

— Я играю на гитаре и всегда вожу ее с собой.

— Красощекова, 1828 года, музейная редкость . . .

— Так я привезу ее назад, когда вернусь . . .

И гитару взять разрешили.

Каким-то образом по деревне распространился слух, что я уезжаю. Самые мои близкие крестьяне пришли попрощаться.

— Расскажи им, — просили они меня, — непременно расскажи, как мы здесь живем, как мучаемся. Может помогут нам! Они верно там и не знают про нашу жизнь!

— Скажу, непременно скажу!

И я сдержала свое обещание. Я рассказывала всем, кому могла и в Японии и в Америке про тяжелую жизнь русских людей в Советском Союзе. Но голос мой остался голосом вопиющего в пустыне.

— Но вы ведь уезжаете ненадолго, вы вернетесь? — спрашивали меня служащие.

— Конечно вернусь.

— Будем вас ждать Александра Львовна, сказал Илья Васильевич, подозрительно глядя на меня и большие черные глаза его наполнились слезами.

— А вы берегите себя, Илья Васильевич. И смотрите не болейте и не умирайте без меня . . .

Но старик безутешно рыдал . . .

Я уехала поздно ночью. Меня провожали только несколько человек из самых близких моих служащих. Все сели. Кто-то всхлипнул. Я не могла говорить, я изо всех сил удерживала рыдание и слезы, застилавшие глаза.

К крыльцу подали мою старую истрепанную пролетку, запряженную парой лошадей. Одной из них был мой любимец Осман.

Мы проехали той же дорогой, минуя главный дом, по которой почти двадцать лет тому назад уехал из Ясной Поляны навсегда мой отец: мимо яблочного сада, по плотине мимо большого пруда, мимо школы, больницы . . .

На кого я все это оставляю? Вернусь ли я?

Нет, лучше не думать, не смотреть . . . Сломать все, чем жила . . . сразу.

Прощай Ясная Поляна! Прощайте мои любимые близкие люди! Прощай все, что было у меня дорогого и светлого! Прощай Россия!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Склады книг:

for Alexandra Tolstoy, 989 — 8th Ave.,
Tolstoy Foundation, New York 19, N. Y.

Dr. Elisabeth Malozemoff, 2135 Roosevelt Str.,
Berkeley, California (94703).